

ЧАСТЬ I

ГЛАВА 1

У МОЕГО БРАТА

События, о которых я сейчас вспоминаю, относятся к давно минувшим дням, к моей далёкой юности.

Уже больше двух десятков лет зовут меня «дедушкой», но я совсем не ощущаю себя старым; мой внешний облик, заставляющий уступать мне место или поднимать оброненную мною вещь, так не гармонирует с моей внутренней бодростью, что заставляет меня конфузиться всякий раз, когда люди выказывают такое почтение моей седой бороде.

Мне было лет двадцать, когда я приехал в среднеазиатский большой торговый город погостить к брату, капитану N-ского полка. Жара, ясное синее небо, дотоле невиданное; широкие улицы с аллеями из высочайших развесистых и тенистых деревьев посередине поразили меня своей тишиной. Изредка не спеша проедет на осле купец на базар; пройдёт группа женщин, укутанных в чёрные паранджи и белые или тёмные покрывала, подобно плащу скрадывающие формы тела.

Улица, на которой жил брат, была не из главных, от базара находилась далеко, и тишина на ней стояла почти абсолютная. Брат снимал небольшой дом с садом; жил в нём один со своим денщиком и пользовался лишь двумя комнатами, а три остальные поступили всецело в моё распоряжение. Окна одной из комнат брата выходили на улицу; туда же смотрели два окна той комнаты, что я облюбовал себе как спальню и которая носила громкое название «зала».

Брат мой был человеком очень образованным. Стены комнат сверху до низу были заставлены полками и шкафами с книгами. Библиотека была прекрасно подобрана, расставлена в полном порядке и, судя по каталогу, составленному братом, обещала много радостей в новой для меня, удивительной жизни.

Первые дни брат водил меня по городу, базару, мечетям; временами я бродил один в огромных торговых галереях с расписными столбами и маленькими восточными ресторанами-кухнями на перекрёстках. В снующей, говорливой толпе, пёстро одетой в разноцветные халаты, я ощущал себя словно оказавшимся в Багдаде, и всё представлял себе, что где-то совсем рядом проходит Аладдин со своей волшебной лампой или бродит никем не узнаваемый Гарун-аль-Рашид. И восточные люди, с их величавым спокойствием, или же, наоборот, повышенной эмоциональностью, казались мне загадочными и притягательными.

Однажды, бродя рассеянно от магазина к магазину, я вдруг вздрогнул как от удара электрического тока и невольно оглянулся. На меня пристально смотрели совершенно чёрные глаза очень высокого, средних лет человека с густой короткой чёрной бородой. А рядом с ним стоял юноша необычайной красоты, и взгляд его синих, почти фиолетовых глаз также был устремлён на меня. Высокий брюнет и юноша оба были в белых чалмах и пёстрых шёлковых халатах. Их осанка и манеры существенно отличались от всех окружающих; многие из прохожих подобострастно им кланялись.

Оба они уже давно двинулись к выходу, а я всё стоял как заворожённый, не в силах победить впечатление от этих чудесных глаз. Опомившись, я бросился за ними, но подбежал к выходу из галереи в тот самый момент, когда столь поразившие меня незнакомцы уже были в пролётке и отъезжали от базара. Юноша сидел с моей стороны. Оглянувшись, он чуть улыбнулся и сказал что-то старшему. Но густая пыль, которую подняли три осла, закрыла всё, я больше ничего не мог видеть, да и стоять под отвесными лучами палящего солнца был больше не в силах.

«Кто бы это мог быть?» — думал я, возвращаясь туда, где их встретил. Я несколько раз прошёл мимо лавки и наконец решился спросить хозяина:

— Скажите, пожалуйста, кто эти люди, которые только что были у вас?

— Люди? Люди много ходила сегодня мой лавка, — хитро улыбаясь, сказал он. — Только твой, верно, не люди хочет знать, а один высокий чёрный люди?

— Да-да, — поспешил я согласиться. — Я видел высокого брюнета и с ним красавца юношу. Кто они такие?

— Они наша большой, богатый помещики. Виноградники, — оуай, — виноградник! Ба-а-льшой торговля ведёт с Англия.

— Но как же его зовут? — продолжал я.

— Ой-я, — засмеялся хозяин. — Вся горись, знакомиться хочешь? Он — Мохаммед Али. А молодой — Махмуд Али.

— Вот как, оба Магометы?

— Нет-нет, Мохаммед только дядя, а племянник — Махмуд.

— Они здесь живут? — продолжал я спрашивать, рассматривая шелка на полках и соображая, что бы такое купить, чтобы выиграть время и узнать ещё что-нибудь о заинтересовавших меня незнакомцах.

— Что смотришь? Халат хочешь? — подметив мой парящий взгляд, спросил хозяин.

— Да-да, — обрадовался я предлогу. — Покажите мне, пожалуйста, халат. Я хочу сделать подарок брату.

— А кто твой брат? Какой ему нравится?

Я понятия не имел, какие халаты могут нравиться брату, так как ни в чём другом, как в кителе или пижаме, пока ещё не видел его.

— Мой брат — капитан Т., — сказал я.

— Капитан Т.? — воскликнул с восточным темпераментом купец. — Я его хорошо знаю. Ему уже есть семь халатов. На что ему ещё?

Я был смущён, но, скрыв своё замешательство, храбро сказал:

— Да он их все раздарил, кажется.

— Вот как! Наверно, друзьям в Петербург посылал. Ха-а-ро-ший халаты покупал! Вот, смотри, Мохаммед Али для своя племянница велел прислать. Ой-я, халат!

И купец достал из-под прилавка чудесный халат розового тона с серовато-лиловыми матовыми разводами.

— Такой мне не подойдёт, — сказал я.

Купец весело рассмеялся.

— Конечно, не подойдёт; это женская халат. Я тебе дам вот, — синий.

И с этими словами он развернул на прилавке великолепный фиолетовый халат. Халат был несколько пестроват; но тон его, тёплый и мягкий, мог понравиться брату.

— Не бойся, бери. Я всех знаю. Твой брат — приятель Али Мохаммед. Мы не можем продавать его приятелю плохо. Твой брат — ха-а-роший человек! Сам Али Мохаммед его почитает.

— Да кто же он, этот Али?

— Я же сказал, — большая важная купец. Персия торгует и Россия тоже, — ответил хозяин.

— Не похоже, чтобы он был купец. Он, наверное, учёный, — возразил я.

— Ой-я, учёный! Учёный он есть такой, что и у твоя брат все книги знает. Твоя брат тоже ба-а-льшой учёный.

— А где живёт Али, вы не знаете?

Купец панибратски хлопнул меня по плечу и сказал:

— Ты, видать, здесь мало живёшь. Али дом — напротив твой брат дом.

— Напротив дома брата очень большой сад, обнесённый высокой кирпичной стеной. Там всегда мёртвая тишина, и даже ворота никогда не открываются, — сказал я.

— Тишина-то тишина. А вот сегодня будет не тишина. Приедет сестра Али Махмуд. Будет сговор, пойдёт замуж. Если ты сказал, что Али Махмуд красавец, то сестра — ой-я! — звезда с неба! Косы до пола, а глаза — ух!

Купец развёл руками и даже захлебнулся.

— Как же вы могли видеть её? Ведь по вашему закону паранджу нельзя снимать перед мужчинами?

— Улица нельзя. У нас и в дом нельзя. А у Али Мохаммед все женщины дома ходит открыта. Мулла много раз говорил, да перестал. Али сказал: «Уеду». Ну, мулла и молчит пока.

Я простился с купцом, взял покупку и пошёл домой. Шёл я долго; где-то свернул не в ту сторону и с большим трудом отыскал наконец свою улицу. Мысли о богатом купце и его племяннике путались с мыслями о небесной красоте девушки, и я не мог решить, какие же у неё глаза: чёрные, как у дяди, или фиолетовые, как у брата?

Я шёл, глядя под ноги, и внезапно услышал: «Лёвушка, да где же ты пропал? Я уже собирался было тебя искать».

Милый голос брата, заменявшего мне всю жизнь и мать, и отца, и семью, был полон юмора, как и его сверкающие глаза. На слегка загорелом, гладко выбритом лице блестели белые зубы; у него были яркие, красиво очерченные губы, золотые вьющиеся волосы, тёмные брови... Я впервые осознал, как красив он, мой брат. Я гордился и восхищался им всегда; а сейчас, точно маленький, ни с того ни с сего бросился ему на шею, расцеловал в обе щеки и сунул ему в руки халат.

— Это тебе халат. А твой Али стал причиной того, что я совсем оторопел и заблудился, — сказал я со смехом.

— Какой халат? Какой Али? — с удивлением спросил брат.

— Халат № 8, который я тебе купил в подарок. А Али № 1, твой друг, — ответил я, всё продолжая смеяться.

— Ты напоминаешь маленького упрянца Лёвущку, который любил всех озадачивать. Вижу, что любовь к загадкам всё ещё жива в тебе, — улыбаясь своей открытой улыбкой, необычайно изменявшей его лицо, сказал брат. — Ну, пойдём домой, не век же нам стоять тут. Хотя никого и нет, но я не поручусь, что где-нибудь тайком, из-за края занавески, на нас не смотрит любопытный глаз.

Мы двинулись было домой. Но внезапно чуткое ухо брата различило вдали цоканье конских копыт.

— Подожди, — сказал он, — едут.

Я ничего не слышал. Брат взял меня за руку и заставил остановиться под огромным деревом, как раз напротив закрытых ворот того тихого дома, в котором, по словам купца из торговых рядов, жил Али Мохаммед.

— Возможно, что сейчас ты увидишь нечто поразительное, — сказал мне брат. — Только стой так, чтобы нас не было видно ни из дома, ни со стороны дороги.

Мы стояли за огромным деревом, где могли бы укрыться ещё два-три человека. Теперь уже и я различал топот нескольких лошадей и шум колёс на мягкой немощёной дороге.

Через несколько минут распахнулись настежь ворота дома Али, и дворник вышел на дорогу. Оглядевшись, он махнул кому-то в сад и остановился в ожидании.

Первой ехала простая телега. В ней сидели две закутанные в покрывала женские фигуры и трое детей. Все они утопали в массе узлов и картонок, а сзади был привязан небольшой сундук.

Вслед за ними, в какой-то старой бричке, ехал старик с двумя элегантными чемоданами.

И наконец на довольно большом расстоянии, очевидно оберегаясь от дорожной пыли, двигался экипаж, который пока нельзя было рассмотреть. Между тем телега и бричка въехали в ворота и исчезли в саду.

— Смотри внимательно, но молчи и не двигайся, чтобы нас не заметили, — шепнул мне брат.

Экипаж приближался. Это была изящная пролётка, запряжённая прекрасным вороным конём, и в ней сидели две женщины с закрытыми чёрной паранджой лицами.

Из ворот дома вышел Али Мохаммед, в белом, и за ним следом, в такой же длинной белой одежде, Али Махмуд. Глаза Али-старшего, почудилось мне, будто пронзили насквозь дерево, за которым мы спрятались, и мне даже показалось, что по губам его скользнула едва уловимая усмешка. Меня даже в жар бросило; я прикоснулся к брату, желая сказать: «Нас обнаружили», но он приложил палец к губам и продолжал пристально смотреть на приблизившийся и остановившийся экипаж.

Ещё через мгновение Али-старший подошёл к экипажу... маленькая белая очаровательная женская ручка подняла покрывало с лица. Я видел женщин, признанных красавиц, на сцене и в жизни, но сейчас впервые понял, что такое женская красота.

Другая фигура что-то визгливо выговаривала Али старческим голосом, а девушка смущённо улыбалась и уже готова была вновь опустить на лицо покрывало. Но Али сам небрежно сбросил его ей на плечи, и, к великому негодованию старухи, на свет показались тёмные кольца непослушных волос.

Не обращая внимания на визгливые выговоры, Али поднял бросившуюся к нему на шею девушку и, как ребёнка, понёс её в дом.

Между тем Али-молодой почтительно высаживал всё ещё ворчавшую старуху.

Серебристый смех девушки доносился из открытых ворот.

Уже и старуха с молодым Али скрылись, и пролётка въехала в ворота, и ворота закрылись... А мы всё ещё стояли, забыв место и время, забыв, что хотелось есть, жару и все приличия.

Обернувшись к брату, чтобы поделиться с ним своим восторгом, я был просто потрясён. Всегда улыбающееся лицо его было совсем бледно, серьёзно и даже сурово. Его синие глаза как-то потемнели. Это было лицо совершенно незнакомого мне человека. Даже брови изменили свою обычную форму и были строго сдвинуты в почти сплошную прямую линию.

Я не мог опомниться; всё смотрел на этого чужого, незнакомого мне человека.

— Ну что же, понравилась ли вам моя племянница Наль? — вдруг услышал я над собой незнакомый металлический голос.

Я вздрогнул, — от неожиданности не понял даже вопроса, — и увидел перед собою высоченную фигуру Али-старшего, который, смеясь, протягивал мне руку. Машинально я взял эту руку и почувствовал какое-то облегчение; даже из груди у меня вырвался вздох, и по руке побежала тёплая струя энергии.

Я молчал. Мне казалось, что ещё никогда не держал я в своей руке такой ладони. С усилием оторвались мои глаза от прожигающих глаз Али Мохаммеда, и я посмотрел на его руки.

Они были белы и нежны, точно к ним не мог пристать загар. Длинные, тонкие пальцы кончались овальными, выпуклыми, розовыми ногтями. Вся рука, узкая и тонкая, артистически прекрасная, всё же говорила об огромной физической силе. Казалось, глаза, мечущие искры железной воли, находились в полной гармонии с этими руками. Можно было легко представить, что в любую минуту, стоит Али Мохаммеду сбросить мягкую белую одежду, взять меч в руку, — и увидишь воина, разящего насмерть.

Я забыл, где мы, зачем мы стоим посреди улицы, и не могу сейчас сказать, как долго держал Али мою руку. Я точно стоя заснул.

— Ну, пойдём же домой, Лёвушка. Отчего ты не благодаришь Али Мохаммеда за приглашение? — услышал я голос брата.

Я опять не понял, о каком приглашении говорит мне брат, и пролепетал какое-то невнятное прощальное приветствие улыбающемуся мне высокому и стройному Али.

Брат взял меня под руку, я невольно двинулся в ногу с ним. Робко взгля-

нув на него, я снова увидел родное, близкое, с детства знакомое лицо любимого брата Николая, а не того чужого человека под деревом, вид которого так меня поразил и глубоко расстроил.

Сложившаяся с детства привычка видеть опору, помощь и покровительство в брате, привычка, создавшаяся в те дни, когда я рос только в его обществе, обращаться со всеми жалобами, огорчениями и недоразумениями к брату-отцу, как-то вдруг выскочила из глубины моего сердца, и я сказал жалобным тоном:

— Как мне хочется спать; я так устал, точно прошёл вёрст двадцать!

— Очень хорошо, сейчас пообедаем, и можешь лечь часа на два. А потом пойдём в гости к Али Мохаммеду. Он здесь почти единственный ведёт европейский образ жизни. Дом его прекрасно и с большим вкусом обставлен. Очень элегантная смесь Азии и Европы. Женщины его семьи образованны и ходят дома без паранджи, а это целая революция для здешних мест. Много раз ему угрожали всяческими гонениями муллы и другие высокопоставленные религиозные фанатики за нарушение местных обычаев. Но он всё так же ведёт свою линию. Все до последнего слуги в его доме грамотны. Слугам предоставляются часы полного отдыха и свободы среди дня. Это здесь тоже революция. И я слышал, что против него теперь собираются устроить религиозный поход. А в здешних диких краях это вещь страшная.

Разговаривая, мы пришли к себе, умылись в ванной комнате, устроенной прямо в саду из циновки и брезента, и уселись у давно накрытого стола обедать.

Хороший освежающий душ и вкусный обед вернули мне бодрость.

Брат весело смеялся, журил меня за рассеянность и рассказывал всевозможные комические сценки, которые ему приходилось наблюдать в здешнем быту; восхищался сметливостью русского солдата и его остроумием. Редко когда восточная хитрость торжествовала над русской пронизательностью, обманувший русского солдата восточный торговец зачастую расплачивался за свою нечестность. Солдаты придумывали такие трюки, чтобы наказать обманщика, такой смешной фарс разыгрывался над торговцем, совершенно уверенным в своей безнаказанности, что любой режиссёр мог бы позавидовать их фантазии.

Надо сказать, что злых шуток солдаты никогда не проделывали, но комические положения, в которые попадал обманщик, надолго отучали его от привычки к надувательству.

Так незаметно мы кончили обедать, и желание поспать у меня улетучилось. Мне вздумалось попросить брата примерить подаренный мной ему халат.

Сбросив китель, брат надел халат. Глубокий фиолетовый тон как нельзя больше шёл к его золотистым волосам и загорелому лицу. Я им невольно любовался. Где-то в глубине мелькнула завистливая мысль — «а мне никогда красавцем не бывать».

— Как удачно ты это купил, — сказал брат. — Халатов у меня, правда, много, но их я уже надевал, этот же мне нравится особенно. Ни на ком такого не видел. Непременно надену его вечером, когда пойдём в гости к соседу. Кстати, заглянем-ка в «туалетную», как важно зовёт денщик гардеробную, и выберем для тебя халат.

— Как, — воскликнул я с удивлением, — разве мы пойдём туда ряжеными?

— Ну зачем же «ряжеными»? Мы просто оденемся так, как будут одеты все, чтобы не бросаться в глаза. Сегодня у Али будут не только друзья, но и немалое количество врагов. Не станем же мы дразнить их европейской одеждой.

Однако когда брат открыл большой шкаф, в нём оказалось не восемь, а десятка два всевозможных халатов из разных материй. Я даже вскрикнул от удивления.

— Тебя поражает это количество? Но ведь здесь носят сразу семь халатов, начиная с ситцевого и кончая шёлковым. Кто побогаче, носят три-четыре шёлковых; кто победнее, только ситцевые, но непременно надевают сразу несколько друг на друга.

— Мой Бог, — сказал я, — да ведь в этакую жару, напялив несколько халатов, можно почувствовать себя в жерле Везувия.

— Это только так кажется. Тонкая материя не тяжела, а надетая одна на другую не даёт возможности солнечным лучам сжигать тело. Вот попробуй облачиться в эти два халата. Ты увидишь, что они невесомы и даже холодят, — сказал брат, протягивая мне два белых, очень тонких шёлковых халата. — Очень уж истово, как полагается по здешней традиции, мы одеваться не будем. Но по четыре халата придётся надеть. Я очень тебя прошу, надень и походи; попривыкни. А то, пожалуй, вечером, по своей рассеянности, ты действительно будешь казаться «ряженым» и оконфузишь нас обоих, — продолжал брат, видя, что я всё ещё держу в нерешительности поданные мне халаты в руках.

Не особенно горя желанием облачаться в восточный наряд, но не желая огорчить любимого брата, я быстро разделся и стал натягивать халаты.

— Но они узкие, какие же это халаты? Это какие-то нелепые перчатки, — закричал я, начиная раздражаться.

— Их надо застегнуть, вот здесь крючок, а здесь пуговица, — сказал спокойно брат и лёгкими, гибкими пальцами сам застегнул на мне халаты.

— Теперь, Лёвушка, успокойся и надень этот зелёный халат; он пошире, его тоже надо застегнуть. В нём есть и карманы. А сверху надень ещё вот этот широкий, серый с красными разводами, — и опять очень ловко он мог мне одеться.

— Да, и обувь ещё, — сказал он. — У Али принят полуазиатский туалет, так что и мы с тобой можем явиться в европейских туфлях, но сверху надо надеть кожаные калоши, которые оставляются у дверей. Иначе придётся идти в одних чулках. Ни в мечеть, ни в дом не входят в уличной обуви.

Мы выбрали калоши мне по ноге, их тоже оказалось у брата несколько пар.

— Пройдём в спальню, там выберем тебе чалму.

— Как чалму? На кого же я буду похож? Я и так-то красой не блещу! Помилуй, Николушка, иди уж лучше один, — взмолился я.

Брат расхохотался:

— Да ведь ты же не собираешься покорять сердце прелестной племянницы Али? А из твоих приятельниц или приятелей никто тебя не увидит. Чего же тебе огорчаться, если восточный туалет тебя не украсит? Впрочем, — прибавил он, подумав, — если хочешь, я смогу сделать тебя неузнаваемым. Я тебе приклею длинную седую бороду, и ты можешь сойти за важного купца.

— Ещё того чище! — воскликнул я. — Да этак, пожалуй, мне придётся вспомнить, что меня считают неплохим актёром-любителем!

— Если ты сумеешь сегодня сыграть роль хромого старика, ты, пожалуй, увидишь очень интересные и не совсем обычные вещи. Но вот жаль, у меня нет второй белой чалмы, чтобы сделать тебе белый тюрбан.

В эту минуту раздался лёгкий стук в дверь. Брат подошёл к двери, и я услышал его приятно удивлённое восклицание:

— Это вы, Махмуд! Войдите. Я как раз занят нарядом брата к вечеру. Хочу сотворить из него старого купца с седой бородой.

— А я принёс белую чалму и камень. Дядя просит вашего брата принять их как подарок от Наль в день её совершеннолетия, — и он подал мне свёрток и футляр.

— А это вам от Наль, — и он подал брату два свёртка и два футляра.

— Не забудьте, что вам нужно хромать на левую ногу и крепко опираться на палку правой рукой. А левой почаще гладить бороду, если вы хотите сыграть роль старого купца. У меня есть такой знакомый в Б., очень важный человек, — говорил мне Али-молодой. Он улыбался, алые прелестные губы обнажали чудесные зубы, а его фиолетовые глаза пристально — не по летам серьёзно — смотрели на меня.

Кивнув нам головой и приложив, по восточному обычаю, руку ко лбу и сердцу, Али так же бесшумно скрылся, как и вошёл.

Я развернул свой свёрток, и оттуда выпал отрез тончайшей белой материи. Любопытство моё было так сильно, что, даже не подобрав упавшего шёлка, я раскрыл футляр, и у меня вырвалось восклицание восторга и удивления.

Прекрасной работы брошь с крупным выпуклым рубином и несколькими бриллиантами, перевитая змеей из тёмного золота и жемчуга, сверкала в полутёмной комнате, и я не мог оторвать от неё глаз.

Брат поднял оброненную мною ткань и, рассматривая брошь вместе со мною, сказал:

— Али-старший посылает тебе от имени племянницы белую чалму — эмблему силы; и красный рубин — эмблему любви. Этим он причисляет тебя к своим друзьям.

— А что же он послал тебе? — полюбопытствовал я.

Брат развернул свёрток побольше, и в нём оказался тончайший белый халат из никогда не виданной мною материи, похожей на белую замшу, но по тонкости равной папиросной бумаге. К нему была приложена записка на арабском языке, которую брат спрятал, не читая, в карман. Во втором свёртке была такая же чалма, как моя, только в самом её начале синим шёлком, арабскими буквами, была выткана во всю ширину чалмы — а она была чрезвычайно широка — какая-то фраза. Я мало обратил внимания и на записку, и на арабскую фразу; мне хотелось скорее увидеть содержимое футляров брата. «Если мне он шлёт привет силы и любви, то что же он посылает Николушке?» — думал я.

Наконец брат свернул осторожно свою чалму, спрятал её в ящик бюро и открыл футляр побольше. Оттуда сверкнули крупные бриллианты в форме треугольника, внутри которого выпуклый изумруд овальной формы сиял голубовато-зелёным светом. В маленьком футляре оказался перстень с таким же овальным выпуклым изумрудом в простой платиновой оправе.

— Вот так совершеннолетие Наль! — почти закричал я. — Если всем своим друзьям Али рассылает в этот день такие подарки, то уж наверное половину своего виноградника, который так расхваливал мне купец в торговых рядах, он раздаст сегодня. И зачем мужчинам эти брошки? Это чудесные украшения для женщин, но ведь Али знает, что мы с тобой не женаты.

— Этими брошками-булавками мы заколем наши чалмы над самым лбом. Получить такую булавку в подарок — огромная честь; и её далеко не всем оказывают на Востоке, — ответил брат. — Али живёт здесь лет десять; сам он родом откуда-то из глубин Гималаев, и все восточные обычаи гостеприимства и уважения к дружбе чтятся в его доме.

Время быстро летело. Сумерки уже сгушались, и вскоре должна была наступить мгновенно опускающаяся здесь ночь.

— Пора начинать твой грим, а то мы можем оказаться невежливыми и опоздать.

С этими словами брат выдвинул ящик бюро, и... я ещё раз обмер от удивления.

— Ну и ну, — сказал я. — Почему же ты ни разу не писал мне, что играешь в любительских спектаклях?

Весь ящик был полон всяческого грима, бород, усов и даже париков.

— Нельзя же всё написать, а ещё менее возможно всё рассказать в несколько дней, — усмехаясь, ответил брат.

Он посадил меня в кресло и, как заправский гримёр, приклеил мне бороду и усы, протерев предварительно всё лицо какой-то бесцветной жидкостью с очень приятным запахом, освежившей моё горевшее от непривычного солнца лицо.

Коричневым карандашом он провёл слегка под моими глазами два-три лёгких штриха. Какой-то жидкостью перламутрового цвета прикоснулся к моим густым тёмным бровям. Смазал каким-то кремом губы и сказал:

— А теперь чуть-чуть подровняю твои кудри, чтобы чёрные волосы не выбились из-под чалмы. Садись сюда. — И с этими словами он усадил меня на табурет.

Мне, признаться, жаль было моих вьющихся волос, которые я справедливо считал единственным своим козырем. Но в жару так приятно иметь коротко остриженную голову, что я сам попросил остричь меня под машинку.

Вскоре голова была острижена, и я хотел встать с табурета.

— Нет-нет, сиди, Лёвушка. Я сейчас обовью твою голову чалмой.

Я остался сидеть, брат развернул чалму, оказавшуюся длиннее, чем я предполагал, беспощадно стал скручивать её жгутом и довольно быстро, ловко, крепко, но без малейшего давления где-либо замотал всю мою голову.

— Голова готова; теперь ноги. Надевай эти длинные чулки и туфли, — сказал он, достав мне из картонной коробки в углу белые чулки и довольно простоватые на вид туфли.

Я всё это надел и встал на ноги; но сразу почувствовал какую-то неловкость в левой туфле. Невольно я как-то припал на левую ногу, а брат услужливо сунул мне в правую руку палку.

— Теперь ты именно тот немой, глухой и хромой старик, которого тебе надо изобразить, — засмеялся брат.

Я разозлился. От непривычной бороды мне было жарко; жидкость, которой было смазано моё лицо, — вначале такая приятная, — сейчас отвра-

тительно стягивала кожу; ноге было неудобно, и, вдобавок ко всему, я ещё, оказывается, должен считаться немым и глухим.

Со свойственной мне раздражительностью я хотел раскричаться и заявить, что никуда не пойду; и уже приготовился было сорвать бороду и чалму, как дверь беззвучно отворилась, и в ней появилась высоченная фигура Али-старшего.

Взгляд его агатовых глаз положительно парализовал меня. Чалма так плотно прикрывала мне уши, что я ровно ничего не слышал, о чём говорил он с братом.

На нём был надет почти чёрный — так густ был синий цвет — халат; а под ним сверкал другой, ярко-малиновый, плотно прилежавший к телу. На голове белая чалма и большая бриллиантовая брошь, изображавшая павлина с распущенным хвостом...

Приветливо и ласково улыбаясь, он подошёл ко мне с протянутой рукой. Когда я подал ему руку, он пожал её; и опять по всему моему телу пробежал ток теплоты, и на этот раз не сонной лени, а какой-то радости.

Али снял со своего пальца кольцо с красным камнем, на котором был вырезан лев в обрамлении каких-то иероглифов. Наклонившись к самому моему уху, он сказал:

— Это кольцо откроет вам сегодня все двери моего дома, куда бы вы ни захотели пройти. И оно же поможет вам, если когда-нибудь в жизни вы будете ранены и рана будет кровоточить.

Увлёкшись кольцом, я не заметил, как рядом с Али выросла другая стройная высокая фигура. Я даже не сразу понял, что это именно брат и стоит возле Али в подаренном мной сегодня сине-фиолетовом халате. Я видел стройного восточного человека с сильно загорелым лицом, со светлой бородой и усами, на белой чалме которого сиял треугольник из бриллиантов и изумруда. Мой брат был высок ростом. Но рядом с высоченным Али он казался среднего роста.

— Посмотри на себя в зеркало, Лёвушка. Я уверен, что себя ты не узнаешь ещё в большей мере, чем не узнал меня, — со смехом обратился ко мне брат, очевидно заметив моё полное недоумение.

Я двинулся к зеркалу, совершенно естественно хромая в своей неудобной левой туфле.

— Вы отличный артист, — едва улыбнувшись, сказал Али. Но вся его фигура выражала такой заразительный юмор, что я расхохотался.

Смеясь, я вдруг увидел в зеркале очень смуглого, чуть что не чёрного хромящего старика. Я огляделся по сторонам и вдруг услышал такой взрыв весёлого, раскатистого хохота Али и брата, что невольно обернулся и с удивлением посмотрел на них. Хохот их ещё больше усилился; между

тем я случайно ещё раз взглянул в зеркало и снова увидел в нём смуглого араба-старика. С трудом я осознал, что этот чёрный араб — я сам.

Я поднёс руку к глазам, убедился, что не сплю, и спросил брата, почему же я такой чёрный. Как это могло случиться? На мой вопрос он мне ответил:

— Это, Лёвушка, жидкость сделала своё дело. Но не тревожься. Завтра же ты будешь снова бел, ещё белее, чем всегда. Другая, такая же приятная жидкость смоев всю черноту с твоего лица.

— А теперь не забудьте, друг, что на весь этот вечер вы хромы, немые и глухи, — сказал, смеясь, Али. С этими словами он поправил на мне чалму, нахлобучив её на мои уши так, что теперь я уж и в самом деле не мог ничего слышать, но понял, что он предлагает мне взять его руку и идти с ним. Я посмотрел на брата, который успел привести комнату в полный порядок, он кивнул мне, и мы вышли на улицу.

ГЛАВА 2

У АЛИ

На улице Али шёл впереди, я посередине, и брат мой — сзади. Моё состояние стало каким-то отупелым от душливой жары, непривычной одежды, бороды, которую я всё трогал, проверяя, крепко ли она сидит на месте, неудобной левой туфли и тяжёлой палки. В голове было пусто, говорить совсем не хотелось, и я был доволен, что по роли этого вечера я нем и глух. Языка я всё равно не понимаю, и теперь мне ничто не будет мешать наблюдать новую незнакомую жизнь. Мы перешли улицу, миновали ворота, по обыкновению крепко запертые, завернули за угол и через железную калитку, которую открыл и закрыл сам Али, вошли в сад. Я был поражён обилием прекрасных цветов, издававших сильный, но не одуряющий аромат.

По довольно широкой аллее мы направились в глубину сада и подошли к освещённому дому. Окна были открыты настежь, и сквозь них был виден большой длинный зал, в котором были расставлены небольшие, низкие круглые столики, придвинутые к низким же широким диванам, тянувшимся по обеим сторонам зала. Подле каждого столика стояло ещё по два низких широких пуфа, как бы из двух сложенных крест-накрест огромных подушек. На каждом пуфе — при желании — можно было усесться по-восточному, поджав под себя ноги.

Весь дом освещался электричеством, о котором тогда едва знали и в столицах. Али был активным его пропагандистом, выписал машину из Англии и старался присоединить к своей, довольно мощной, сети своих друзей. Но даже самые близкие его друзья не решались на такое новшество, только один мой брат да два доктора с радостью осветили свои дома электричеством.

Пока мы проходили по аллее, навстречу нам быстро вышел Али-молодой, а за ним Наль в роскошном розовом халате, который я тотчас узнал, с откинутым назад богатейшим покрывалом. Моему взору предстал не виданный мною прежде женский головной убор, затканый жемчугом и камнями; перевитые жемчугом тёмные косы лежали на плечах и спускались почти до полу; улыбающиеся алые губы быстро говорили что-то Али... Я хотел сдвинуть чалму, чтобы услышать голос девушки, но быстрый взгляд Али как бы напомнил мне: «Вы глухи и немые, погладьте бороду».

Я злился, но старался ничем не выказать своего раздражения и медленно стал гладить бороду, радуясь, что я хотя бы не слеп, по виду стар и могу рассматривать красавицу, любуясь ею безо всякой помехи. Девушка не обращала на меня никакого внимания. Но не требовалось быть тонким физиономистом, чтобы понять, как занято её внимание моим братом.

Теперь мы стояли на большой террасе, со всех сторон обвитой незнакомой мне цветущей зеленью. Благодаря яркой люстре было светло как днём, так, что даже рисунок драгоценного ковра, в котором утопали ноги, был ясно виден.

Девушка?! Среднего роста, тоненькая, гибкая! Крошечные белые ручки с тонкими длинными пальцами держали две большие красные розы, которые она часто нюхала. Но мне казалось, что она старается таким образом скрыть своё замешательство. Её глаза, громадные, миндалевидные зелёные глаза, не похожи были на глаза земного существа. Можно было представить, что где-то, у каких-нибудь высших существ, у ангелов или гениев, могут быть такие глаза. Но с представлением об обыкновенной женщине не вязались ни эти глаза, ни их выражение.

Али предложил мне сесть на мягкий диван, а девушка и Али-молодой сели напротив нас на большом мягком пуфе. Я всё смотрел, не отрываясь, на лицо Наль. И не один я смотрел на это лицо, меняющее своё выражение подобно волне под напором ветра. Глаза всех трёх мужчин были устремлены на неё. И как разное было их выражение!

Молодой Али сверкал своими фиолетовыми глазами, и в них светилась преданность до обожания. Я подумал, что умереть за неё, без колебаний, он готов каждую минуту. Оба были очень похожи. Тот же тонко вырезанный нос, чуть с горбинкой, тот же алый рот и продолговатый овал лица. Но Али — жгучий брюнет, и чувствовалось, что в нём темперамент тигра, что мысль его может быть едкой, а слово и рука ранившими. А в лице Наль всё было так мягко и гармонично; всё дышало добротой и чистотой, и казалось, что жизнь простого серого дня, с его унынием и скорбями, не для неё. Она не может сказать ни единого горького слова; не может причинить боль; может быть только миром, утешением и радостью тем, кто будет счастлив её встретить.

Дядя смотрел на неё своими пронзающими агатовыми глазами пристально и с такой добротой, какой я никак не мог в нём предполагать. Глаза его казались бездонными, и из них лились на Наль потоки ласки. Но мне всё чудилось, что за этими потоками любви был глубоко укрыт ураган беспокойства и неуверенности в счастливой судьбе девушки.

Последним я стал наблюдать брата.

Он тоже пристально смотрел на Наль. Брови его снова, — как под деревом, — были слиты в одну прямую линию; глаза от расширенных зрачков стали совсем тёмными. Весь он держался прямо. Казалось, все его чувства и мысли были натянуты, как тетива лука. Огромная воля, из-под власти которой он не мог позволить произвольно вырваться ни одному слову, ни единому движению, точно панцирь облекала его. И я почти физически ощущал железное кольцо этой воли.

Девушка чаще всего взглядывала на него. Казалось, в её представлении нет места мысли, что она женщина, что вокруг неё сидят мужчины. Она, точно ребёнок, выражала все свои чувства прямо, легко и радостно. Несколько раз я уловил взгляд обожания, который она посылала моему брату; но это было опять-таки обожание ребёнка, в котором чистая любовь лишена малейших женских чувств.

Я понял вдруг огромную драму этих двух сердец, разделённых предрассудками воспитания, религии, обычаев...

Али-старший взглянул на меня, и в его, таких добрых сейчас, глазах я увидел мудрость старца, точно он хотел мне сказать: «Видишь, друг, как прекрасна жизнь! Как легко должны бы жить люди, любя друг друга; и как горестно разделяют их предрассудки. И во что выливается религия, зовя к Богу, а на деле разрывая скорбью, мукой и даже смертью жизни любящих людей».

В моём сердце раскрылось вдруг понимание свободы и независимости человека. Мне стало жаль, так глубоко жаль брата и Наль! Я осознал, как безнадежна была бы их борьба за любовь! И оценил волю брата, не дававшего пробиться ни единому живому слову, но державшегося в рамках почтительного рыцарского воспитания в своём разговоре с Наль.

Вначале такая детски весёлая, девушка становилась заметно грустней, и её глаза всё чаще смотрели на дядю с мольбой и недоумением. Али-старший взял её ручку в свою длинную, тонкую ладонь и что-то спросил, чего я расслышать не смог. Но из жеста девушки, которым она быстро вырвала свою руку, поднесла розы к зардевшемуся лицу, я понял, что вопрос был о цветке. Али снова ей что-то сказал, и девушка, вся пунцовая, сияя своими огромными зелёными глазами, поднесла одну из роз к губам и сердцу и протянула её моему брату.

— Возьми, — сказал Али так чётко, что я всё расслышал. — В день совершеннолетия женщина нашей страны дарит цветок самому близкому и дорогому другу.

Брат взял цветок и пожал протянувшую его ручку.

Али-молодой вскочил, как тигр, со своего места. Из глаз его буквально посыпались искры. Казалось, что он тут же бросится на брата и задушит его. Али-старший только взглянул на него и провёл указательным пальцем сверху вниз — и Али-молодой сел со вздохом на прежнее место, словно вконец обессилив.

Девушка побледнела. Брови её нахмурились, и всё лицо отразило душевную муку, почти физическую боль. Её глаза скорбно смотрели то в глаза дяди, то на опустившего голову двоюродного брата.

Али Мохаммед снова взял её руку, ласково погладил по голове, потом взял руку моего брата, соединил их вместе и сказал:

— Сегодня тебе шестнадцать лет. По восточным понятиям ты уже зрелая женщина. По европейским — ты дитя. По моим же понятиям ты уже взрослый человек и должна вступить в самостоятельную жизнь. Не бывать никому сговору, который так глупо затеяла твоя тётка. Ты хорошо образованна. Ты поедешь в Париж, там будешь учиться, а когда окончишь медицинский факультет, поедешь со мной в Индию, в моё поместье. Там, работая врачом, ты будешь служить людям лучше, чем в качестве жены здешнего фанатика. Мой и твой друг, капитан Т., не откажет нам в своей рыцарской помощи и поможет тебе бежать отсюда. Обменяйся с ним кольцами, как христиане меняются крестами.

Мне было странно, что, не разбирая ни одного слова девушки, я чётко слышал каждое слово Али. На мизинце брат носил кольцо нашей матери, которой я совсем не помнил. Это было старинное кольцо из золота и синей эмали с крупным алмазом, тонкой, изящной работы.

Ни мгновения не раздумывая, брат снял своё кольцо и надел его на средний палец правой руки Наль. Она же, в свою очередь, сняла с висевшей у пояса цепочки перстень-змею, в открытой пасти которой покоился мутный, бесцветный камень, и надела его на безымянный палец левой руки брата.

Не успел я подумать: «Какой безобразный камень! Такой же урод, как и держащая его в пасти толстая змея», — как вдруг едва не вскрикнул от изумления: камень, похожий на стекляшку, вдруг засверкал всеми цветами радуги. Ни один бриллиант самой чудесной воды и огранки не мог бы бросать таких длинных радужных лучей, сверкавших, как луч солнца, преломлённый в хрустальной пирамиде.

У Али-молодого вырвался из груди стон. И снова взгляд дяди заставил его успокоиться, снова он опустил голову на грудь.

— Это камень жизни, — сказал Али-старший. — Он оживает, принимая в себя электричество из организма человека. Ты, друг Николай, сейчас в полном расцвете сил и сердце твоё чисто. Вот камень и сверкает ослепительно. Чем старше ты будешь становиться, тем тусклее будут лучи камня, если только мудрость и сила духа не придут к тебе на смену физических сил. Ты отдал моей племяннице самое дорогое, что имел, — любовь матери, закованную в это кольцо. Наль отдала тебе дар мудреца-прадеда, завещавшего ей передать кольцо тому, кого будет любить так сильно и верно, что и на смерть пойдёт за него.

Я нечаянно взглянул на молодого Махмуда. Не цветущий юноша сидел напротив меня, а привидение с прозрачным мертвенным лицом, с тусклыми, ничего не видящими глазами. Я подумал, что он в обмороке и лишь держится в сидячем положении, случайно найдя устойчивую позу.

— Сегодня, — продолжал Али Мохаммед, — должна совершиться та великая перемена в твоей жизни, о которой я тебе говорил месяц назад, моя Наль, и к которой я готовил тебя более пяти лет. Капитан Т. отведёт тебя и двух твоих преданных слуг к себе домой. Али пойдёт с тобой. Там ты найдёшь европейское платье для себя и слуг, переоденешься, отдашь свой халат и покрывало Али, и вместе с капитаном Т. вы все уедете на станцию железной дороги. Али же вернётся сюда. Доверься чести и любви капитана. Он отвезёт тебя в такой город и в такое место, где ты будешь в полной безопасности ждать меня или моего посла. Ни о чём не беспокойся. Храни только верность единственному закону, закону мира и гармонии. Будь мужественна и жди меня без страха и волнений. Раньше или позже, — но я приеду. Повинуйся во всём капитану Т. и не бойся оставаться без него. Если он временно тебя покинет, — значит, так будет необходимо. Но если случится такая необходимость, он оставит тебя под охраной верных друзей. А теперь выйдем в сад все вместе.

Мы вышли в сад. Али-молодой подал мне руку, чтобы помочь сойти со ступенек террасы. Внезапно весь дом погрузился во тьму, где-то перегорели пробки.

Пользуясь полным мраком, брат, Наль, Али и ещё две фигуры тихо вышли из сада через калитку. Али-старший что-то шепнул племяннику, и тот согласно кивнул головой.

В темноте бегали какие-то фигуры, слуги зажгли кое-где свечи, отчего тьма показалась ещё гуще. Так прошло с четверть часа. Мне померещилось, что я увидел снова Наль в том же розовом халате, с опущенным на лицо покрывалом. Как будто даже Али Мохаммед обнял её за плечи; но среди пёстрых впечатлений этого дня я уже не мог отдать себе ясного отчёта ни

в чѐм и подумал, что мне просто привиделся облик той, красота которой точно врезалась в моѐ сознание.

Между тем свет вдруг ярко вспыхнул, ещё три раза мигнул и полился ровно.

— Настал час съезда гостей, — чѐтко сказал Али Мохаммед, и я опять его понимал. — Не забудьте — вы хромаете на левую ногу, вы глухи и немы. Вам будут много и почтительно кланяться. Не отвечайте никому на поклоны, только мулле едва кивнёте. Не ешьте ничего с общего стола. Кушайте только то, что вам будет подано с моего. К концу ужина настанет час выхода Наль. Она будет укутана в роскошные покрывала. Всеобщее внимание будет приковано к условному похищению Наль женихом. К вам подойдёт мой друг и проведёт вас к задней калитке сада. Там будет стоять сторож. Вы ему покажете кольцо, что я вам дал, вас выпустят, и вы пройдёте другой дорогой к себе домой. Дома вы найдёте письмо брата. Вы снимете свою одежду, спрячете всё, как вам будет сказано в письме. Придётся вам немало поработать, чтобы привести в порядок дом. Надо, чтобы денщик ничего особенного не обнаружил, когда станет убирать комнаты.

С этими словами Али оставил меня и пошёл навстречу группе гостей; им открыли калитку возле ворот, которой я раньше не заметил. Высокая фигура хозяина выделялась на целую голову над группой гостей в пѐстрых одеждах. Некоторым он важно отвечал на поклон, и они проходили дальше. Другие задерживались возле него, и он пожимал им по-европейски руки. Гости всё подходили, и вскоре вся аллея и веранда были густо усеяны живописными фигурами. Говор, смех и радостное ожидание вкусного угощения, какие-то, очевидно весѐлые, рассказы — всё создавало приподнятое настроение. Но, приглядываясь, я заметил, что гости держатся обособленными кучками. Те, что были одеты не совсем по-азиатски, держались особняком. А остальные всё поглядывали на муллу, как музыканты на дирижѐра.

Я поневоле пристально присматривался ко всем, думая обнаружить, не заgrimированы ли чьи-либо лица подобно моему, искусственную бороду которого я так важно поглаживал.

Время незаметно шло, гости входили теперь реже, где-то заиграла восточная музыка, и из дома вышло несколько слуг, приглашая гостей в зал.

В самой глубине зала, у дверей в соседнюю комнату стоял Али Мохаммед с ещё не виденным мною очень высоким человеком в белой одежде и такой же чалме. У него была золотистая борода, огромные тѐмно-зелѐные прекрасные глаза, слегка загорелое лицо. Очень стройный, человек этот был молод, лет 28—30, и бросался в глаза своей незаурядной красотой. Ростом он был чуть ниже Али, но много шире в плечах, необычайно пропорцио-

нален, — настоящий средневековый рыцарь. Я невольно представил его себе в одежде Лоэнгрина.

Хозяин приветствовал всех входивших в зал глубоким поклоном. Гости рассаживались на диваны и пуфы, соблюдая всё тот же порядок и держась отдельными кучками. Все, входя, оставляли туфли или кожаные калоши у входа, где их подбирали слуги и ставили на полки. Среди гостей не было ни одной женщины.

Я стоял, наблюдая, как проходят и усаживаются гости, и не представлял, куда я могу сесть. Я уже хотел было скрыться в саду, как почувствовал на себе взгляд Али. Он сказал что-то мальчику-слуге, и тот быстро направился ко мне. Почтительно поклонившись, он жестом пригласил меня следовать за собой и повёл к столу, стоявшему неподалёку от стола хозяина.

За этим столом уже сидели двое мужчин средних лет в цветных чалмах и пёстрых халатах. Они сидели по-европейски, обуты были в европейскую обувь, а поверх европейских костюмов на них было надето только по одному шёлковому халату. Они почтительно поклонились мне глубоким восточным поклоном. Я же, помня наставление Али, даже не кивнул им, а просто сел на указанное мне место.

Только когда все гости расселись, Али и высокий красавец заняли свои места. Музыка заиграла ближе и громче, и одновременно слуги стали вносить дымящиеся блюда. Мальчики разносили фарфоровые китайские пиалы и серебряные ложки, подавая их каждому гостю.

Но не все гости накладывали в пиалы жирный, дымящийся плов ложками и использовали их при еде. Большинство запускали руки прямо в общее блюдо, а потом ели плов руками, что вызывало во мне чувство отвращения, близкое к тошноте. Хотелось убежать, хотя никогда прежде не виденная мною толпа представляла собой чрезвычайно интересное зрелище восточных красок и нравов.

На наш стол тоже подали блюдо плова, но я не прикасался к нему, помня наставление Али и ожидая специального кушанья. И действительно, от его стола отделилась высокая фигура поразившего меня красавца, и он подал мне серебряную пиалу с небольшой золотой ложкой.

Очевидно, честь, оказанная мне, считалась по здешним обычаям очень высокой, потому что на мгновение в зале умолк говор и шум, и вслед за наставшей тишиной пронесли удивлённые восклицания.

Гости, судя по жестам и мимике, спрашивали друг друга, кто я такой. Многие очень серьёзно поглядывали на меня, что-то говорили своим соседям, и те удовлетворённо кивали головой. Но в это мгновение внесли новые ароматные блюда, и всеобщее внимание отвлеклось от меня.

Я невольно встал перед державшим мою чашу красавцем. Он улыбнулся мне, поставил пиалу на стол и поклонился по-восточному. От его улыбки, от добрых его глаз, от какой-то чистоты, которой веяло от него, меня наполнила такая радость, как будто я увидел старого, верного друга. Я отдал ему глубокий восточный поклон.

Мои соседи по столу задавали мне какие-то вопросы, которых я не понял и не расслышал, а видел только их шевелящиеся губы и вопрошающие глаза. Меня выручил мальчик, сказавший им что-то, показывая на рот и уши. Сотрапезники мои покачали головами и, сострадательно поглядев на меня, с аппетитом принялись за свой плов, слава богу, накладывая его ложками в пиалы. Я поглядел на содержимое моей серебряной пиалы и несказанно удивился. Там, по виду, был компот из фруктов, а у меня уже разыгрался аппетит, и я с удовольствием поел бы чего-нибудь более существенного. Я разочарованно взглянул на Али Мохаммеда, он встретил мой взгляд, как будто зная, что я буду разочарован. В его руках была точно такая же пиала, как моя, он её приподнял, словно желая чокнуться со мной, и ласково улыбнулся. Чтобы не показаться невежливым и невоспитанным гостем, я взял и съел небольшой кусочек неизвестного мне плода, плавающего в соку, напоминавшем красное вино. И в тот же миг улетучилось всё желание более основательной пищи. Плоды имели чудесный вкус и аромат, вроде ананаса, а сок был бодрящим и прохлаждающим. Я ел с таким удовольствием, что даже перестал наблюдать за происходящим.

А между тем наблюдать было что.

Оба моих соседа сняли свои халаты и пиджаки и остались в одних шелковых рубашках и широких чёрных поясах, заменявших жилеты. Аналогичный эффект жара возымела и на более европеизированных гостей, сидевших за другими столами.

Правоверные же, обливаясь потом, отирая его рукавами с лоснящихся лиц, усердно ели, нередко пятная свои драгоценные халаты, но никто не снимал ничего из своей одежды. Чувствовалось, что жара и тяжёлые яства доводили гостей до изнеможения. Позы их становились вольнее, голоса громче, затевались споры, нередко сопровождавшиеся размахиванием рук и возбуждением некоторых гостей, что очень напоминало ссоры. Компот, поданный мне красавцем, обладал, очевидно, каким-то волшебным свойством. Мне перестало быть жарко, уже не хотелось содрать с себя чаamu, я был бодр и ощущал бодрость во всём теле. Мне казалось, что я могу легко пройти сейчас вёрст десять, словно и не было вовсе утомления и волнений дня. Мысль моя обострилась, я стал внимательно наблюдать за всеми.

Полное спокойствие и самообладание, появившаяся во мне уверенность в самом себе и какая-то новая сила взрослого мужчины, которой я ещё ни

разу не испытывал, удивила меня самого. Я вспомнил брата, Наль и Али-молодого. Почему-то у меня не было ни малейшего беспокойства за тех двоих, но Али-молодого я стал беспокойно искать глазами по всему залу. Мне пришла на память фигура Наль в розовом халате, которую я заметил в темноте сада. Я продолжал искать двоюродного брата Наль, но найти его не мог. Случайно мой взгляд встретился с взглядом хозяина, и я точно прочёл в нём: «Храните самообладание и помните, когда вам уйти и что делать дома». Волна какого-то беспокойства пробежала по мне, точно порыв ветра, заставляющий мигать пламя свечи, — и снова я вернулся к полному самообладанию.

Между тем блюда сменялись много раз, уже были расставлены всюду горы фруктов и сладостей. Мои соседи ели сравнительно мало плова, но зато дыни поглощали в несметном количестве, посыпая их перцем.

Снова отделилась от стола Али великолепная фигура золотоволосого красавца, и он подал мне чашу с какими-то другими фруктами, напоминавшими по внешнему виду зёрна риса в меду. Нагнувшись, он незаметно сунул мне в руку записку, опять низко поклонился и отошёл. Я хотел отдать ему поклон, но не смог встать, мне не повиновались ноги. При свойственной мне смешливости, я расхохотался бы во всё горло, если бы щёки не стягивала так сильно борода. Я развернул записку, там было написано по-английски: «Сначала съешьте то, что я вам сейчас принёс. Не пытайтесь встать, пока не съедите этого кушанья. Вам непривычны наши пряные блюда, от них ноги — как от некоторых сортов вин — вам не повинуются. Но через некоторое время, после принятия новой пищи, всё будет в порядке. Не забудьте, в конце пира вам надо уйти, я сам отведу вас к калитке. Когда подымется шум, встаньте и немедленно идите к столу хозяина, я вам подам руку, и мы сойдём в сад».

Я не хотел раздумывать над сотней таинственных и непонятных мне вещей. Но стать вновь хозяином своих ног я очень хотел, а потому поторопился съесть содержимое чаши. Было очень похоже на маленькие катышки сладкой каши в соусе из мёда, вина, ванили и ещё каких-то ароматных вещей. Мои соседи уже давно перестали обращать на меня внимание. Они следили, казалось мне, с возрастающим беспокойством за усиливающимся шумом и возбуждением гостей.

Я попробовал теперь двинуть ногой, привстал, как бы поправляя халат, — ура! Ноги мои вновь тверды и гибки. Шум в зале стал напоминать воскресный гул базарной площади. Кое-где за столиками шли ожесточённые споры, гости размахивали руками и со свойственной Востоку экспрессией выкрикивали визгливыми голосами какие-то слова. Мне показалось, что я уловил «Наль» и «Аллах». Шум в зале всё усиливался. И тут я вспомнил, что

мне пора вставать и двигаться к столу Али. Я хотел быстро подняться, но неловкость в левом башмаке сразу же заставила меня образумиться и войти в роль хромого. Я отдал должное уму и наблюдательности брата. Не будь этого неудобного башмака, толстой чалмы и склеивающей движение губ неуклюжей бороды, я бы уже сто раз забыл, что должен играть роль глухого, немого и хромого.

Взглянув на Али, я увидел, что мой красавец уже поднялся и двинулся навстречу. С огромным трудом я вылез из-за стола, оставив свои пиалы и ложку. Заметив моё затруднение, золотоволосый великан в один миг очутился возле меня; а мальчик, подскочив с листом мягкой белой бумаги, в один миг завернул обе мои серебряные чаши и ложку и подал мне их, что-то лопоча с глубоким поклоном. Видя, что я удивлённо смотрю на него и не беру свёрток, он стал почтительно совать мне его в свободную от палки левую руку.

— Возьмите, — услышал я над собой голос. — Таков обычай. Возьмите скорее, чтобы никому не пришло в голову, что вы не знаете местных обычаев. Мальчик так усердно кланяется вам, потому что думает, что вы очень важная персона и недовольны столь малым подарком в день совершеннолетия. Пойдёмте, пора, — закончил он свою английскую фразу и поддержал меня под левую руку.

Я едва шёл, неудобный башмак так жал мне ногу, что я почти подпрыгивал и, пожалуй, без помощи красавца-гиганта не смог бы сойти с невысокой, но крутой лесенки в сад.

Едва мы сделали несколько шагов по аллее, как во всём доме потух свет. В зале раздался рёв не то радости, не то озорства и негодования. Возле нас мелькнула чья-то тень и набросила на моего провожатого какое-то лёгкое плотное покрывало, которое задело и меня. Мой проводник схватил меня, как малого ребёнка, на руки и бросился в гушу сада. Добежав до калитки, мы столкнулись со сторожем, которому я показал перстень, данный мне Али Мохаммедом, и он беспрекословно пропустил нас на улицу. Мой спутник сказал ему несколько слов, он почтительно поклонился и закрыл калитку.

Мы очутились на пустынной улице. Глаза попривыкли к темноте, из сада нёсся шум, но больше ничего не нарушало ночной тишины. Небо сияло звёздами. Мой спутник опустил меня на землю, снял с меня неудобную туфлю. Наклоняясь ко мне, он стащил с меня и чалму и, пристально глядя мне в глаза, сказал:

— Не теряйте времени. Жизнь вашего брата, Налъ и ваша зависят во многом от вас. Если вы в точности выполните всё, как указано в письме, которое лежит на подушке вашего дивана, — всё будет хорошо. Забудьте теперь, что вы были хромы, глухи и немые; но помните всю жизнь, как вы играли роль старика на восточном пире. Будьте здоровы, завтра утром я вас

навешу. А сегодня, что бы вы ни услышали, — ни в коем случае не покидайте дом и даже не выходите во двор.

Сказав мне всё это по-английски, он пожал мне руку и исчез во тьме.

Когда я отворял дверь нашего дома, то увидел, что свет в саду Али снова вспыхнул. «Значит, горит и у нас», — подумал я. Обнаружив небольшую полоску света из-под двери кабинета, я пошёл туда и поразился беспорядку, царившему там, при шепетильной аккуратности брата.

Очевидно, здесь несколько человек переодевались. Но я мало обратил внимания на внешний беспорядок. Все мои мысли были заняты судьбой брата. Плотнo закрыв дверь, я запер её на ключ, задёрнул на ней тяжёлую портьеру и поправил складки на полу, чтобы свет не проникал в щель.

«Прежде всего, — думал я, — надо прочесть письмо».

Удостоверившись, что ставни на окнах закрыты, синие шторы спущены и плотные портьеры задёрнуты, я прошёл в свою комнату. Здесь у самого дивана горела небольшая лампа. Окна тоже были укрыты плотно, и сильная жара становилась невыносимой. Мне хотелось раздеться, но мысль о письме точно заколдовала меня. Я бросил палку, снял верхний халат, подошёл к дивану и на подушке увидел большой синий конверт, на котором рукой брата было написано: «Завешание».

Я схватил толстый конверт, осторожно его разорвал и вынул из него два письма и записку. Одно из писем было длиннее и имело ту же надпись, сделанную рукой брата: «Лёвущке». На другом незнакомым мне круглым, полудетским, женским почерком было написано: «Другу, Л. Н. Т.»

Я прежде всего развернул записку. Она была коротка, и я жадно её прочёл. «Лёвущка, — писал мне брат, — некогда. Из большого письма ты узнаешь всё. А сейчас не медли. Сними грим с лица и рук жидкостью, что стоит у тебя на столе. Все костюмы, что брошены в комнате, а также всё с себя спрячь в тот шкаф в гардеробной, который я тебе показал сегодня. Туда же спрячь и флакон с жидкостью для грима. Когда закроешь плотно дверцы шкафа, нажми справа в 9-м цветке обоев, считая от пола, совсем незаметную кнопку. Сверху опустится обитая теми же обоями лёгкая стенка и закроет шкаф. Но осмотри внимательно всё, не забудь чего-либо из одежды».

Я мгновенно вспомнил, что провожавший меня покровитель снял с моей головы чалму и сдёрнул с левой ноги туфлю. Я очень обеспокоился, не потерял ли их дорогой. Но, поглядев на свёрток с чашами, сунутый мне мальчиком, я рядом с ним увидел и уродливую туфлю и чалму. Очевидно, мой спутник дал мне всё это в руки, и я машинально держал всё вместе, а войдя в комнату, бросил на стол.

Я достал вату, сначала смочил руки жидкостью из флакона, и они сразу стали снова белыми. Я подумал, что придётся долго возиться с лицом из-за

бороды; но ничуть не бывало. Похожая на молоко, приятно пахнущая жидкость сразу сняла всю черноту с лица; борода сразу отстала, мне сделалось легко и даже не так жарко. Я сбросил ещё один халат, оставшуюся туфлю и чулки, надел лёгкие ночные туфли и пошёл убирать комнату брата.

В царившем, как мне показалось вначале, хаотическом беспорядке всё же была какая-то система. Все халаты были собраны в один узел; остальные принадлежности туалета тоже были связаны в узлы.

Оставалось всё унести в гардеробную. Я подумал о денщике, но вспомнил, что он отличался таким богатырским сном, что даже пушечная пальба и та не будила его, как говорил брат. И действительно, едва я вышел в коридор, как могучий храп денщика заставил меня улыбнуться. Мои лёгкие шаги вряд ли могли нарушить его сон. Несколько раз мне пришлось пропутешествовать из кабинета с узлами в гардеробную. Наконец, я убрал всю обувь, оставались чалмы. Я узнал чалму брата по треугольнику с изумрудом. На туалетном столе лежал и футляр от него. Я хотел было отколотить его и спрятать в футляр, но решил выполнить дословно приказ записки, взял все чалмы, подобрал и футляры и отнёс всё в шкаф. Тут же снял я и всю свою одежду, собрал бороду, палку, чалму, свёрток с чашами и несносную туфлю и всё это бросил тоже в шкаф. Я ещё раз вернулся, внимательно осмотрел все комнаты, нашёл ещё футляр от своей булавки для чалмы и снова отнёс в шкаф.

Ещё и ещё раз я осмотрел внимательно все закоулки в комнате брата и наконец решился нажать кнопку, которую отыскал не без труда в девятом цветке обоев. Девярых цветков, считая снизу, было много, и наконец на одном из них, отнюдь не самом близком к шкафу, мне удалось найти что-то похожее на кнопку. Сначала ничего не было заметно; я уже стал терять терпение и называть себя ослом, как лёгкий шелест заставил меня поднять глаза. Я едва не подпрыгнул от радости. Медленно поползла сверху стенка и через несколько минут, всё ускоряясь в движении, мягко опустилась на пол. «Волшебство, да и только», — подумалось мне и, действительно, если бы я собственными руками не убрал всё в шкаф, я никогда не мог бы предположить, что комната эта имела когда-нибудь другой вид.

Но раздумывать было некогда, всё виденное и пережитое мною за день слилось в такой сумбур, что я теперь даже неясно отдавал себе отчёт, где кончалась действительность и начинался мир моих фантазий. Я потушил свет в гардеробной, в которой вообще не было окон, запер двери и снова вернулся в кабинет. На полу валялось несколько бумаг, какие-то обрывки писем и газет. Всё это я тщательно собрал, как и куски грязной ваты в своей комнате, бросил в камин и сжёг.

Теперь я мог успокоиться, потушил свет и перешёл в свой «зал». Мне хотелось пить, но жажда прочесть письма была сильнее физической жаж-

ды. Я перечёл ещё раз записку, убедился, что всё по ней выполнил, и сжёг её на спичке.

Мне послышался шум на улице, как будто глухо прокатилось несколько выстрелов, и снова всё смолкло.

Я лёг и начал читать письмо брата. Чем дальше я читал, тем больше поражался; и образ брата Николая вставал передо мною другим, нежели я привык его себе рисовать. Много-много лет прошло с той ночи. Не только я уже в поре старчества, не только нет в живых брата Николая и многих из участников побега Наль, но и вся жизнь вокруг меня изменилась; пришла война, одна, другая, третья, пронеслись тысячи встреч и впечатлений, а письмо брата Николая всё стоит перед моим взором таким, каким я воспринял его всем сознанием в ту далёкую, незабвенную ночь. Вот оно, это письмо:

«Лёвушка!

Письмо это ты прочтёшь тогда, когда настанет час моего большого испытания. Но этот час будет также и твоим огненным часом; и тебе придётся проверить и выказать на деле твою верность и преданность брату-отцу, как ты любил называть меня в исключительные моменты жизни.

Теперь я обращаюсь к тебе как к брату-сыну. Собери всё своё мужество и выкажи честь и бесстрашие, которые я старался в тебе воспитать.

Моя жизнь раскололась надвое. Я — христианин, офицер русской армии — полюбил магометанку. И отлично знаю, что в этой любви не бывать радостному концу. Сеть религиозных, расовых и классовых предрассудков представляет из себя такую стену, о которую может разбиться воля не только одного человека, но и целого войска.

Как я встретил ту, кого люблю? Как познакомился?.. Всё узнаешь, если конец истории не будет печален; вернее, если будет история, а не простой смертный конец. Сейчас я скажу тебе только самое главное, то, что ты должен будешь сделать для меня, если захочешь отстаивать мою жизнь и счастье».

Дальше следовало — через несколько пустых строчек — более свежими чернилами и более нервным почерком продолжение:

«Ты уже знаешь Али Мохаммеда и молодого Али. Ты увидел Наль. Тебе предстоит разыграть роль гостя на пиру и... быть заподозренным в том, что ты выкрал Наль в тот час, когда её жених должен был, по здешнему обычаю, похитить свою невесту. Если ты не захочешь выдать меня, если ты будешь хорошо играть свою роль, как тебе это укажут Али-старший и его друг, — мы с Наль, может быть, уйдём от грозы и ужаса преследования фанатиков...

Зайди к полковнику N и скажи, что я уехал раньше него на охоту с подернувшейся оказией и буду дожидать его у знакомого лесника, как всегда. Если же не дождусь его там, то проеду дальше и рассчитываю, что встретимся у купца Д. и привезём домой немало дичи; скажи, чтобы N взял с собой лишнее ружьё и побольше дрови. Сходи утром, часов в 8, передай всё точно и не опоздай.

Дальше во всём доверься Али Мохаммеду. Обнимаю тебя. Не думай о грозящей мне опасности. Но думай, хочешь ли добровольно, легко, просто стать защитой, а может быть, и спасением мне и Наль.

Прощай. Мы или увидимся счастливыми и радостными, или не увидимся вовсе. И в том, и в другом случаях будь мужествен, правдив и честен. Твой брат Н.».

Я взглянул на часы. Было уже почти четыре часа утра. Снова мне послышался шум на улице, хлопанье точно пастушечьих бичей; показалось даже, будто в ворота дома стучат. Но я помнил наставление моего ночного спутника по дороге домой, потушил свет и стал прислушиваться. По улице быстро прокатилось несколько телег, завопили какие-то голоса, раздалось снова несколько выстрелов; начинались какие-то песни и сейчас же обрывались.

Мне казалось, что на улице происходит какой-то скандал; хотелось взглянуть откуда-нибудь, но я не решался, чтобы не навлечь подозрений на дом брата.

Сна не было ни в одном глазу, усталости также. Я зажёл снова лампу, перечитал ещё раз письмо брата, поцеловал его и взялся за другое.

«Друг и брат, — начиналось оно, — я только маленькая женщина. Ты меня почти не знаешь, и вот из-за незнакомой женщины в твою жизнь врывается опасность.

Брат, Али Мохаммед, мой дядя, воспитавший меня, — лучший человек, какого могла создать жизнь. Если ты захочешь помочь мне избежать ужаса брака с грубым и страшным человеком, фанатиком и другом муллы, я уверена, что мой дядя будет тебе всегда благодарен. И, в свою очередь, защитит тебя от всех опасностей, которые будут угрожать в жизни тебе.

Что я могу ещё сказать, брат и друг? Я прошу помощи и ничего не могу обещать тебе взамен лично от себя. Мы, женщины Востока, любим лишь однажды, если жизнь позволяет нам любить. Ты — брат, брат-сын того, кого я люблю. Да будет же тебе моя любовь любовью сестры-матери. Останусь ли я жива или погибну, — я для тебя с этой минуты сестра-мать. Отдаю тебе поклон и поцелуй; и пусть всегда останется в твоём сердце чудесный образ твоего брата-отца, а также горячо любящей его и тебя Наль».

Снова послышался на улице шум; казалось, бежит множество ног возле самого дома и грохочут телеги. Я потушил огонь и стал вслушиваться. Где-то, теперь подальше, прогремел опять выстрел; проехала, грохоча, ещё одна тяжёлая телега, — и снова всё смолкло. Я чиркнул спичкой и поглядел на часы. Было уже половина шестого, значит, на улице совсем светло; но я всё же не решился открыть окна.

Я зажёл лампу в комнате брата, взял конверты и письма, ещё раз их перечёл, бросил в камин и поджёл.

Как странно горели письма! Вдруг, вспыхнув, почти погасли, отделилось и свернулось письмо брата, и я ясно прочёл слова: «брат-отец». Затем снова всё ярко вспыхнуло, а на письме Наль, точно на белом пятне в кругу огня, появились круглые буквы: «Наль». Ещё раз всё ярко вспыхнуло, превратилось в красные лохмотья и погасло, чтобы уже больше не явиться в нашем мире, как условная серия знаков любви, надежды, опасений, горя и верности.

Долго ли я сидел перед камином, — не знаю. За весь истёкший день я не мог отдать себе отчёта во всём происходившем; а эта ночь, какая-то сказочная, фантастическая ночь, расстроила мои нервы окончательно. Я старался, но не мог собрать мыслей. На сердце была такая тяжесть, какой я ещё в жизни не испытывал. «Брат-отец» — всё мысленно, на тысячу ладов шептал я, и слёзы катились из моих глаз. Мне казалось, что я похоронил всё, что имел лучшего в жизни; что я вернулся с кладбища, чтобы начать одинокую жизнь брошенного, никому не нужного существа. Но ни на минуту в сердце моём не возникло страха. Отдать жизнь за брата казалось мне делом таким естественным и простым. Но как защитить его? В чём может выразиться моя, такого неумелого и неопытного, помощь ему? Этого я себе не представлял.

Время шло; я всё сидел без мыслей, без решений, с одною болью в сердце и не мог унять льющихся слёз. Где-то очень близко пропел петух. Я вздрогнул, взглянул на часы, — было без четверти семь. «Пора», — подумал я.

У меня оставалось время, только чтобы одеться и идти к полковнику N с поручением брата. Я перешёл в свою комнату, отёрнул портьеру, чуть приоткрыл ставень. На улице всё было тихо. Я прошёл в умывальную комнату, по дороге увидел денщика, хлопотавшего над самоваром. Я велел ему не спешить с самоваром, так как брат вечером уехал на охоту, а я пойду известить об этом полковника N.

Очевидно, внезапные отъезды на охоту были в привычках брата, ибо денщик мой ничуть не удивился. Он предложил мне сбежать самому к полковнику N, но я отклонил его предложение, сказав, что хочу прогуляться

сам. Он растолковал мне ближайший путь садами, и через четверть часа, приведя себя в полный порядок, я вышел через сад на другую улицу. Я шёл быстро, было жарко. День был праздничный, и, проходя мимо базара, я шёл среди оживлённой, густой толпы. Я старался ни о чём не думать, кроме ближайшей задачи: оповестить N, и даже страсть к наблюдениям заснула во мне.

— Здравствуйте, — вдруг услышал я за собою. — Вот как! Вас интересует базар? Я уже минут пять бегу за вами и едва догнал. Очевидно, вы что-то высмотрели и хотите купить? — передо мной, весело улыбаясь, стоял полковник N.

— Да я к вам спешу, — обрадовался я. — Брат просил передать, что он не дождался вас и с подвернувшейся оказией уехал вперёд на охоту.

И я подробно передал всё порученное мне в записке насчёт встречи, ружья и дробы.

— Вот хорошо-то! — весело воскликнул полковник. — А ко мне приехал племянник, страстный охотник; и просит, молит взять его с собой. Места не было бы, если бы я ехал с вашим братом. А теперь я могу его взять. Только выеду не сегодня, а завтра на рассвете.

Разговаривая, мы пересекли базарную площадь, в конце её, у развалин старой мечети, собралась порядочная кучка восточного народа, среди которого я заметил несколько жёлтых халатов и остроконечных шапок с лисьиими хвостами монашеского ордена дервишей.

— Да, должно быть, здорово обозлены эти жёлтые на Али Мохаммеда, — сказал полковник.

— Почему? — спросил я. — Что им сделал Али Мохаммед?

— Да разве вы не слышали, что против него собираются поднять религиозное движение? И в эту ночь вот эти жёлтые дервиши, конечно, сами учинили огромную пакость Али. Вы ничего не слышали? — продолжал спрашивать полковник.

Я внутренне вздрогнул, но спокойно пожал плечами и сказал:

— Что же я мог слышать, если почти единственный мой знакомый здесь вы, и вижу я вас только сейчас; а брат мой уехал вчера вечером.

На это полковник кивнул головой и рассказал мне, что в эту ночь у Али Мохаммеда должно было состояться ритуальное похищение невесты, его племянницы. Что это — часть обряда, заранее обусловленная; что жених едет похищать невесту с толпой своих товарищей, со стрельбой из ружей и прочей инсценировкой дерзновенного похищения; а на самом деле невесту они находят в определённом месте, выведенную из дома старухами, хватают её и мчат во весь опор на хороших конях, стреляя в воздух, в дом жениха.

Мне вспомнились выстрелы и шум телег ночью; и я недоумевал, чем же это разрешилось, кого же увезли вместо Наль. Видя, что я молчу, полковник счёл, что его рассказ меня не занимает.

— Конечно, вам, столичному человеку, не интересны наши дела. Но живя здесь, видя тьму, в которой обретаются люди, зажатые муллой, поневоле сострадаешь этому чудесному мягкому народу и горячо к сердцу принимаешь борьбу такого прекрасного человека, как Али Мохаммед, с религиозным фанатизмом. Это истинный слуга народа.

Я поспешил заверить полковника, что более чем интересуюсь его рассказом и что рассеянность моя относится к необычной для меня внешней красочности жизни, которой я никогда раньше не видел.

— Да, так вот я и говорю, что они подстроили — вот эти, — кивнул он головой на жёлтые халаты монахов, — самую пакостную историю бедному Али. Они похитили его племянницу, упрятали её куда-то, а его обвиняют в том, что он устроил её побег с помощью какого-то важного хромого старика-купца, которого здесь никто не знает. Словом, факт тот, что ночью во время пира жених и его друзья похитили Наль; а когда примчались домой, то в повозке нашли розовый халат, драгоценное покрывало да пару крошечных туфельек невесты, а самой невесты и след простыл. Оскандаленный жених примчался назад к Али. Весь дом уже спал глубоким сном. Еле добились Али, послали на женскую половину за старухами. Когда старухам сказали, что невеста сбежала, тётка Наль чуть глаза не выпарапала жениху. Пришлось самому Али унимать старую ведьму. Но, разумеется, они девушку упрятали в надёжное место, чтобы оскорбить Али и объявить против него религиозный поход. Это очень хорошо, что ваш брат вчера вечером уехал. Все, кто был в добрых отношениях с Али, могут оказаться в опасности, так как религиозный поход — это благовидный предлог для сведения личных счётов и убийства всех неугодных почему-либо людей.

Я молча шёл рядом с полковником, погружённый в невесёлые думы о брате и Наль, об обоих Али и обо всех грозящих им бедах. Только теперь я сообразил, как велика опасность. Не раз вспоминал я смертельную бледность молодого Али, его муки ревности и подавленное бешенство. Чью сторону примет юноша? Не видел ли кто, куда подевался хромой старик с пира?

Мы подходили к дому полковника, он звал меня радушно к себе, но я отговорился головной болью и поспешил домой.

ГЛАВА 3

ЛОРД БЕНЕДИКТ И ПОЕЗДКА НА ДАЧУ АЛИ

Ясно помнил, что красавец-гигант обещал навестить меня днём. Когда я подходил к дому, то увидел денщика, разговаривающего с каким-то разносчиком дынь у калитки сада.

Мне всё казалось теперь подозрительным. Я мельком взглянул на дыни и торговца и молча прошёл в сад.

Денщик захлопнул калитку и подбежал с двумя дынями к столу под деревом, где мы с братом обычно пили чай. Положив дыни, он принёс самовар, хлеб, масло, сыр и выжидательно остановился у стола. По всему его поведению было видно, что он хочет что-то мне сказать.

— Налей-ка чаю, — сказал я ему, — дыни ты, кажется, купил хорошие.

— Так точно, — ответил он. — Изволили слышать? У нашего соседа скандал приключился. Ночью стёкла побили... драка была и стрельба.

— Да разве ты слышал? Я не так крепко сплю, как ты, да и то ничего не слышал, — возразил я ему.

— Так точно, я не слышал сам. Вот торговец мне сказал, да всё спрашивал, где мой барин, был ли ночью дома? Я сказал, на охоту уехавши ещё с вечера. И он всё допытывал, когда, мол, уехал, да куда. Я сказал, часов в пять уехал, как всегда к Ибрагиму.

В эту минуту послышался довольно сильный стук в парадную дверь. Денщик не пошёл в дом, а открыл калитку сада, рядом с дверью. Я двинулся вслед за ним, подумав, что надо бы взять на всякий случай револьвер. Калитка открылась, и в ней обрисовалась громадная фигура, в которой я сразу узнал своего вчерашнего покровителя.

— Простите, я постучал довольно сильно и, вероятно, встревожил этим вас. Но на два звонка мне никто не открыл. Я и решился прибегнуть к стучку, — сказал он на довольно чистом русском языке.

При ярком свете утра красота моего гостя ещё больше поразила меня. Правильные черты лица, безукоризненные зубы, маленькие уши и большие миндалевидные, совершенно изумрудно-зелёные глаза, — всё, при сияющем солнце, было обворожительно. Мой взгляд, полный восхищения, был прикован к нему, к этой обаятельной, такой мужественной и вместе с тем молодой мягкой красоте. Я пригласил моего гостя разделить со мной утренний чай. Он улыбнулся и ответил:

— Моё утро давно уже миновало. Мы, восточные люди, привыкли вставать рано. Я уже и забыл, когда завтракал; но если позволите, с удовольствием разделю вашу трапезу, съем кусочек дыни. Обычай моей родной страны учит, что только в доме врага не едят, а я ваш преданный друг.

— Вот как! — воскликнул я. — До сих пор я думал, что это обычай старой Италии. Теперь буду знать, что это и восточное поверье.

— Я и есть итальянец, и родина моя — Флоренция. Вы не думайте, что все итальянцы — смуглые брюнеты. В Венеции женщины даже полагали неприличным иметь чёрные волосы и красили их в золотистый цвет, что заставляло их немало трудиться, — говорил он смеясь. — Но мои волосы не поддельные, мне не приходится волноваться.

— Да, — сказал я. — Вы так дивно сложены, что рост ваш поражает только тогда, когда видишь рядом с вами обычного человека, который сразу кажется малышом, — сказал я, подавая ему тарелку, нож и вилку для дыни. — Вы простите меня, что я так невежлив и не свожу с вас глаз. В глаза Али Мохаммеда я не в силах смотреть; они меня точно прожигают. Вы же не подавляете, но привлекаете к себе словно магнит. Я хотел бы век быть подле вас и трудиться с вами в каком-то общем деле, — вырвалось у меня восторженно, по-детски.

Он весело засмеялся, стал есть дыню своими прекрасными руками, попросив разрешения обойтись без ножа и вилки.

Только сейчас я увидел, вернее, сообразил, что мой гость одет не повосточному, как ночью, а в обычный европейский костюм песочного цвета из материи вроде чесучи. Должно быть, моя физиономия отразила моё изумление, так как он мне весело подмигнул и сказал тихо:

— И вида никому не показывайте, что вы меня видели в иной одежде. Ведь и вы сами были в чалме со змеей, хромы, глухи и немы. Разве я не мог, так же как и вы, переодеться для пира?

Я расхохотался. Хотя можно было совершенно спокойно принять моего гостя за англичанина, но... увидев его однажды в чалме и одежде Востока, я не мог уже расстаться с убеждением, что он не европеец.

Точно угадывая мои мысли, он снова сказал:

— Уверяю вас, что я флорентиец. Хотя и очень, очень долго жил на Востоке.

Я снова расхохотался. Желание гостя подурчить меня было так явно! Эта цветущая красота, — ему не могло быть больше двадцати шести-семи лет.

— Скольких же лет вы уехали из Флоренции, если так давно-давно живёте на Востоке? — сказал я. — Ведь вы не многим старше меня. Хотя весь ваш облик и внушает какую-то почтительность, невзирая на вашу молодость. Вчера вы мне показались гораздо старше, а европейский костюм и причёска выдали вас с головой.

— Да, — многозначительно ответил он, глядя на меня с юмором. — Ваш европейский костюм и причёска тоже окончательно выдали вашу молодость.

Я закатился таким смехом, что даже пёс залаял. А гость мой, кончив есть льню, обмыл руки в струе фонтана и, не переставая улыбаться, предложил мне пройти в комнаты для небольшого, но несколько интимного разговора. Я допил свой чай, и мы прошли к брату.

Мой гость быстро оглядел комнату и, указав мне на пепел в камине, сказал:

— Это нехорошо, отчего же ваш слуга так плохо убирает? В камине какие-то обрывки исписанной бумаги.

Я взял со стола старую газету, подсунул её под оставшиеся в камине клочки бумаги и снова поджёг.

— Я вижу, вы всё тщательно убрали, — продолжал он, осматриваясь по сторонам. — Кстати, откололи ли вы броши с чалмы своей и брата?

— Нет, — сказал я. — В письме брата ничего не было сказано об этом. Я их вместе с чалмами и запер в шкафу. Вернее, похоронил, так как теперь уже не сумею поднять стену, — улыбнулся я.

— Этому делу помочь просто, — возразил мой гость.

Тут вошёл денщик и спросил разрешения пойти на базар. Я дал ему денег и велел купить самых лучших фруктов. Когда он ушёл, закрыв за собой дверь чёрного хода, мы прошли с гостем в гардеробную брата.

— Вы и дверь не закрыли на ключ? — сказал он мне. — А если бы ваш денщик полюбопытствовал заглянуть в гардеробную?

Он покачал головой, а я ещё раз понял, насколько же я рассеянный.

Я зажёл свет, гость мой наклонился и указал на стенке в том же ряду, где я отсчитывал девятый цветок снизу, на четвёртом цветке такую же, еле заметную кнопочку. Нажав её, он выпрямился и остановился в спокойном ожидании.

Как и в тот раз, лишь через несколько минут послышался лёгкий шорох, между полом и стенкой образовалась щель. Движение стенки всё ускори-лось, и наконец она вся ушла в потолок.

Я отпёр дверцы шкафа и достал чалмы, непочтительно валявшиеся на дне его. Мой гость ловко отстегнул обе булавки, мгновенно сам нашёл футляры, уложил в них броши и спрятал футляры в свой карман. Потом вынул флакон с жидкостью, который я поставил сюда вчера, и тоже положил его в карман.

— А в туалетном столе вашего брата вы не разбирали вещи? — спросил он меня.

— Нет, — отвечал я. — Я туда не заглядывал, в письме об этом ничего не сказано.

— Давайте-ка посмотрим, нет ли и там чего-либо ценного, что могло бы пригодиться вашему брату или вам впоследствии.

Разговаривая, мы вернулись в комнату. Мысли вихрем носились в моей голове, — почему надо искать ценности? Почему может что-то пригодиться «впоследствии»? Разве брат мой не вернётся сюда? И что же будет со мною, если он не вернётся? Все эти вопросы точно пылали в моём мозгу, но ни на один из них я не мог себе ответить.

Мне было чудно, что человек, вместе со мной роющийся в ящиках, мне совершенно чужой; а всё же полная уверенность в его чести и доброжелательности, сознание, что он делает именно то, что нужно, и так, как нужно, не нарушались во мне ни на минуту.

Из ящиков гость вынул несколько флаконов, и мы разместили их по своим карманам. Среди всяких коробочек он нашёл плоский серебряный футляр с эмалевым павлином. Распущенный хвост павлина сверкал драгоценными камнями. Это было чудо художественной ювелирной работы. Тут же висел крошечный золотой ключик на тонкой золотой цепочке.

— Ваш брат второпях забыл эту чудесную вещь, которую он получил в подарок и которой очень дорожит. Возьмите её, и, если жизнь будет милостива ко всем нам, — когда-нибудь вы передадите её брату, — проговорил мой чудесный гость, подавая мне футляр с ключиком.

При этом он нежно, ласково коснулся обеими руками моих рук. И такая любовь светилась в его прекрасных глазах, что в моё взбудораженное воображение и взволнованное сердце пришло спокойствие. Я почувствовал уверенность, что всё будет хорошо, что я не один, у меня есть друг.

Мог ли я тогда предполагать, сколько страданий мне придётся пережить? Сколько несчастий свалится на мою бедную голову! И каким созревшим и закалённым человеком стану я через три года, пока не увижу брата и пока в жизни его и моей действительно всё наладится.

Я спрятал в боковой карман заветный футляр, но потом, рассмотрев его ближе, понял, что это записная книжка, запиравшаяся на ключ.

Захватив ещё кое-что, что казалось необходимым моему гостю, мы заперли ящики, отнесли всё в гардеробную, плотно задвинули створки шкафа; и тогда я снова нажал кнопку девятого цветка. Вскоре стенка опустилась, мы закрыли дверь гардеробной на ключ и вышли снова в сад.

Здесь гость мой сказал, чтобы я рекомендовал его всем, кто бы нас ни встретил, как своего петербургского друга и то же сообщил о нём денщику. Затем он передал мне приглашение Али провести сегодня день в его загородном доме, куда он уехал с племянником рано утром. Он ни словом не обмолвился о происшествиях минувшей ночи, а я не мог побороть какой-то застенчивости и потому не спрашивал его ни о чём.

Я так был рад не разлучаться с моим новым другом, что охотно согласился поехать к Али. Мы ждали в саду денщика, и обаяние моего гостя всё сильнее привязывало меня к нему. Тоска в сердце и мучительные мысли о брате как-то становились тише рядом с ним. Спустя часа полтора вернулся денщик. Я сказал ему, что поеду за город с моим петербургским товарищем. А сам товарищ прибавил, что, быть может, мы не вернёмся раньше завтрашнего утра, пусть он не тревожится о нас. Денщик плутовато усмехнулся и ответил своё всегдашнее: «Так точно».

Мы вышли через калитку внутри сада, прошли немного по тихой, тонувшей в зелени и пыли улице и свернули в тупичок, кончавшийся большим тенистым садом. Я шёл за моим новым другом, и вдруг мне показалось странным, что я знаком с этим человеком чуть ли не целые сутки, так много пережил личного с ним и подле него — и даже не знаю, как его зовут.

— Послушайте, друг, — сказал я. — Вы велели рекомендовать вас всем как моего близкого петербургского друга. А я не знаю даже, как мне самому вас звать, а не то что представлять кому-то.

Он улыбнулся, взял меня под руку, — хотя я подумал, что ему было бы удобнее положить мне руку на плечо, таким невысоким я был по сравнению с ним, — и тихо сказал мне по-английски:

— Это ничего не значит. Ваши знакомые будут думать, что я и в самом деле английский лорд. А так как лордов они никогда не видели, то мне будет легко играть эту роль. Кстати, у меня есть и монокль, которым я отлично манипулирую.

Он вставил в левый глаз монокль, поджал как-то смешно губы, разделил свою небольшую золотую бороду надвое, — и я прыснул со смеху, до того он был высокомерен, напыщен, а его прекрасное, умное лицо вдруг поглупело.

— Ну, вот видите, как весело, — процедил он сквозь зубы, — я могу изображать высокомерного тупицу не хуже, чем вы — хромого старичка.

Представляйте меня лордом Бенедиктом, а сами зовите меня Флорентийцем, как зовут меня свои.

Мы вошли в сад и встретились там с двумя молодыми офицерами, товарищами брата. Они шли к нам и были очень разочарованы, что брат уехал на охоту; я познакомил их с моим петербургским другом, англичанином, лордом Бенедиктом. Лорд высокомерно оглядывал бедных мешковатых поручиков с высоты своего громадного роста. На обращённые к нему вопросы он мямил сквозь зубы по-английски: «Не понимаю», несколько раз ловко сбросил и поймал бровью свой монокль, чем окончательно сразил тарасивших на него глаза армейцев, никогда не выдавших живого лорда с моноклем, и, наконец, быстро проговорил, что лошади нас ждут и я должен сказать им, что еду в гости за город к его дяде, тоже англичанину.

Мы простились, я ещё сдерживал душивший меня смех, но когда услышал пущенное возмущённым тоном вдогонку: «Ну и барская харя!» — я уже не смог сдержаться, залился вовсю, и мне вторили два раскатистых баса. Но лорд Бенедикт, как истый англичанин, и бровью не повёл — отчего мне было ещё смешнее.

У ворот сада стояла отличная коляска в английской упряжке. Две полжарые, истинно английские лошади нервничали, и их с трудом сдерживал старый кучер во фраке, гетрах и башмаках светло-коричневого цвета, с английским кнутом в руке, точь-в-точь как на картинках модных журналов.

Я поглядел удивлённо на моего лорда, он отвесил мне лёгкий эlegantный поклон и предложил первому занять место в коляске. Я пожал плечами, сел, лорд быстро уселся рядом, сказал что-то кучеру, чего я не понял, и мы помчались.

Довольно скоро мы оказались за городом. Я ещё не видел окрестностей. По обе стороны дороги тянулись виноградники, фруктовые сады, огромные баштаны¹ дынь и арбузов. Нам навстречу непрерывно ехали на ослах люди всех возрастов в чалмах. Нередко на одном осле устраивались сразу двое. Встречались и женщины, укутанные в чёрные паранджи с сетками, тоже иногда сидевшие вдвоём на одном осле. Всё тонуло в пыли и было залито солнцем и зноем; казалось, конца не будет этому обильному плодородию, мимо которого мы катили.

Так ехали мы около часа. Наконец мы свернули с дороги налево и, проехав ещё немного, очутились в степи. Картина сразу резко изменилась, точно мы попали в другое царство. Всё буйство природы, вся зелень осталась позади, а впереди, — насколько мог охватить глаз, — тянулась пустынная степь с выжженной травой. Меня укачали ритмичный бег лошадей, мягкое

¹ Баштан — то же, что и бахча. — Прим. ред.

покачивание эластичных рессор и мельканье нагретого воздуха, и я незаметно для себя задремал.

— Мы скоро приедем, — сказал мне мой спутник по-русски.

Я встрепенулся, посмотрел на него и... обмер. Передо мной сидел в чалме и белой одежде мой ночной покровитель.

— Когда же вы успели переодеться? — почти в раздражении воскликнул я.

Он весело рассмеялся, приподнял обитую бархатом скамеечку, и я увидел ящик, в котором лежали халат и тюрбан, в виде уже намотанной чалмы.

— Я оделся, как требует долг восточной вежливости, — сказал мой спутник. — Ведь если мы приедем в европейском платье — Али должен будет подарить нам по халату. Я думаю, вам не очень хотелось бы сейчас принимать подарок от кого-либо, а это халат вашего брата.

— Мне не только был бы несносен восточный подарок, но и вообще я потерял, и думаю, навсегда, вкус к восточному костюму после маскарада и чудес прошлой ночи, — не совсем мягко и вежливо ответил я.

— Бедный мальчик, — сказал Флорентиец и ласково погладил меня по плечу. — Но, видишь ли, друг Лёвушка, иногда человеку суждено созреть сразу. Мужайся. Вглядишься в своё сердце, чей образ живёт там? Будь верен брату-отцу, как он был верен всю жизнь тебе, брату-сыну.

Слова его задели самую глубокую из моих ран, привязанностей и скорбей. Острую тоску разлуки с братом я снова пережил так сильно, что не смог удержать слёз, я точно захлебнулся своим горем.

«Я ведь решил быть помощником брату, — подумал я, — зачем же я думаю о себе. Пойду до конца. Начал маскарад — значит, надо продолжать. Ведь это брат хотел, чтобы я нарядился восточным человеком. Будь по его желанию».

Я проглотил слёзы, вынул тюрбан, надел его на голову и облачился в пёстрый халат поверх своего студенческого кителя. Вдали уже были видны дом, сад, и по обе стороны дороги начинался виноградник. Гроздь винограда зрели и наливались соком, краснея и желтея на солнце.

— Теперь недолго страдать и мучиться в догадках, — сказал Флорентиец. — Али всё расскажет тебе, друг, и ты поймёшь всю серьёзность и опасность создавшегося положения.

Я молча кивнул головой, мне казалось, я достаточно уже всё понимал. На сердце у меня было так тяжело, как будто, выехав за город, я перевернул какую-то лёгкую и радостную страницу своей жизни и ступил в новую полосу гроз и бед.

Мы въехали в ворота, к дому вела длинная аллея гигантских тополей. Как только экипаж остановился и мы оказались в довольно большой перед-

ней, к нам быстрой, лёгкой походкой вышел Али Мохаммед. В белой чалме, в тонкой льняной одежде, застёгнутой у горла и падавшей широкими складками до пола, он показался мне не таким худым и гораздо моложавее. Смуглое лицо улыбалось, жгучие глаза смотрели с отеческой добротой. Он шёл, издали протянув мне обе руки. Поддавшись первому впечатлению, измученный беспокойством, я бросился к нему, как будто бы мне было не 20, а 10 лет. Я прильнул к нему с детским доверием, забыв, что надо мужаться перед малознакомым человеком, скрывать свои чувства. Все условные границы были стёрты между нами. Моё сердце прильнуло к его сердцу, и я всем своим существом почувствовал, что нахожусь в доме друга, что отныне у меня есть ещё один друг и родной дом.

Али обнял меня, прижал к себе и ласково сказал:

— Пусть мой дом принесёт тебе мир и помощь. Войди в него не как гость, а как сын, брат и друг.

С этими словами он поцеловал меня в лоб, ещё раз обнял и повернул меня к Али-молодому, стоявшему сзади.

Я помнил, как страдал этот человек, когда Наль отдала моему брату цветок и кольцо. Мог ли я ждать чего-либо, кроме ненависти, от него, ревновавшего свою двоюродную сестру к европейцу?

Но Али-молодой, так же как и его дядя, приветливо протянул мне обе руки. Глаза его смотрели прямо и честно мне в глаза; и ничего, кроме доброжелательства, я в них не прочёл.

— Пойдём, брат, я проведу тебя в твою комнату. Там ты сможешь принять ванну, надеть свежее бельё и одежду. Если пожелаешь, переоденься, но просты, европейской одежды у нас здесь нет. Я приготовил тебе наше лёгкое индусское одеяние. Если ты пожелаешь остаться в своём, слуга тебе его вычистит, пока ты будешь купаться.

С этими словами он провёл меня по довольно большому дому и ввёл в прелестную комнату, с выходящими в сад окнами, под которыми росло много цветов.

— Через двадцать минут ударит гонг к обеду, и я зайду за тобой. А за этой дверью ванная комната, — прибавил он.

Он ушёл, а я с наслаждением сбросил свой студенческий китель, которым так гордился, открыл дверь в ванную и, увидев, что ванна полна тёплой воды, с восторгом стал в ней плескаться. Наконец, набросив мягкий купальный халат, вернулся в комнату. Не успел я ещё вытереться хорошенько, как постучали в дверь. Это был слуга, принёсший мне какой-то прохладительный напиток. Я выпил его залпом и почувствовал себя верблюдом в пустыне, так была велика моя жажда, которой я не замечал, пока не начал пить.

Я пробовал говорить со слугой на всех языках, но он не понимал меня, отрицательно качая головой, печально разводя руками. Вдруг он заулыбался во весь рот, что-то бормоча, закивал утвердительно головой и побежал к шкафу, вытащил оттуда бельё и белую одежду. Очевидно, он подумал, что я спрашиваю его именно об этом. Я хотел остаться в своём кителе, но у слуги был такой радостный вид, он был так счастлив, думая, что понял, чего мне было надо, что мне не захотелось его огорчать. Я весело рассмеялся, похлопал его по плечу и сказал:

— Да-да, ты угадал.

Он ответил на мой смех ещё более радостными кивками и повторил, как бы желая запомнить:

— Да-да, ты угадал.

Речь его была так смешна, что я по-мальчишески залился смехом и вдруг услышал звук гонга.

— Батюшки, — закричал я, как будто мой слуга мог меня понимать, — да ведь я опоздаю.

Но мой слуга понял всё отлично. Он быстро подал мне трусы и брюки из белого шёлка, длинную рубашку, белый шёлковый нижний халат и ещё одну белую одежду, лёгкую льняную, вроде той, в которую был одет Али Мохаммед. Не успел я залезть во всё это, как раздался стук в дверь и на мой ответ «войдите» появился Али-молодой.

— Ты уже готов, брат, — сказал он. — А я принёс тебе чауму; подумал, что твоя остриженная голова может сгореть под солнцем без неё.

— Да я не сумею её надеть, — ответил я.

— Ну, это один момент. Присядь, я тебе сверну тюрбан.

И действительно, гораздо ловчее, чем это делал брат, он обернул мне голову чаумой. Мне было удобно и легко. На голые ноги я надел белые полотняные туфли без каблука, и мы двинулись с Али Махмудом обедать.

Мы вышли в сад, и в тени необычайно громадного каштана я увидел круглый стол, за которым уже сидели старший Али и Флорентиец. Я извинился за своё опоздание, но хозяин, указав мне место рядом с собой, приветливо улыбнулся и ласково сказал:

— Мы не придерживаемся строгого этикета, когда живём за городом. Если тебе вздумается вообще не выйти к какой-нибудь трапезе, чувствуя себя совершенно свободным и поступай только так, как тебе легче, проще и удобнее. Я буду очень рад, если ты погостишь здесь, отдохнёшь и наберёшься сил для дальнейших трудов. Но если жизнь рассудит иначе, — прими в моём доме всю любовь и помощь и помни обо мне как о преданном тебе навеки друге.

Я поблагодарил, занял указанное мне место и посмотрел на Флорентийца. Он тоже переоделся в белое индусское платье. Снова я поразился этой юной цветущей красоте, в которой, казалось, не было ни одной складки страдания или беспокойства, но было разлито полное счастье жизни. Он тоже поглядел на меня, улыбнулся, вдруг поджал губы, сделал движение левой бровью и веком, и я увидел глупое лицо лорда Бенедикта. Я залился своим мальчишеским смехом, рассмеялись и оба Али.

Стол был сервирован прекрасно, но без всякого шика. Меню было европейское, но ни мяса, ни рыбы, ни вина не было. Я был голоден и ел с удовольствием и суп, и зелень, как-то особенно приготовленную, с превкусными гренками; отдал дань и чудесным фруктам. Я так был занят едой, так отдыхал от всего пережитого, что даже мало наблюдал моих сотрапезников. Подали в чашах прохладительное питьё; но оно нисколько не было похоже на содержимое той чаши, что мне подал на пиру Флорентиец. Обед кончился, как и начался, без особых разговоров. Старшие говорили тихо на незнакомом мне языке, Али же молодой рассказывал мне о названиях и свойствах цветов, стоявших в овальной фарфоровой китайской вазе посреди стола. Многих цветов я совсем не знал, некоторые видел только на рисунках, но восхищался всеми. Али обещал мне после обеда показать в оранжерее дяди редкостные экземпляры экзотических цветов, обладавших будто бы замечательными свойствами.

Хотя я ел с хорошим аппетитом, я всё же заметил, что Али-молодой ел мало и, казалось, только из вежливости, чтобы я не выделялся среди всех своим аппетитом, но всё же отведал все подававшиеся блюда. Но сколько я ни смотрел на Али-старшего, я ничего, кроме фруктов, мёда и чего-то похожего на молоко, в его руках не видел. Незаметно обед кончился. С самого начала меня несказанно удивила перемена, произошедшая в молодом индусе. Сейчас она казалась мне ещё более разительной. Выражения нетронутой безмятежной юности, ранее бывшего на его лице, как не бывало. Он, должно быть, пережил такое глубокое страдание, что его психика словно сделала скачок в другой мир. И я невольно сравнил наши судьбы и подумал, что ведь и я перешёл черту безмятежного детства и занавес над ним опустился. Начиналась другая жизнь...

Всё время, с того самого момента, как Али Мохаммед обнял меня, я хотел спросить его о брате, — и всё вопрос застывал на моих устах, я не мог решиться задать его. Теперь снова острая тоска по брату резанула меня по сердцу, и я с мольбой взглянул на моего хозяина. Точно поняв мой безмолвный вопрос, Али встал, встали и мы все и поблагодарили его за обед. Он пожал всем руки и, задержав мою в своей руке, сказал:

— Не хочешь ли, друг, пройтись со мной к озеру. Оно недалеко, в конце парка.

Я обрадовался возможности поговорить наконец с Али Мохаммедом, и все мы двинулись в глубь сада. Мы с Али-старшим шли впереди. Сначала я слышал за собой шаги Флорентийца и молодого Али. Но вот мы свернули в густую платановую аллею, и нас окружила никем, кроме птиц и цикад, не нарушаемая тишина. В этой части парка уже не было цветов, но деревья попадались не только необычайно развесистые и с колоссально толстыми стволами, но и с необыкновенной окраской листьев и цветов. Особенно привлекли моё внимание клёны с чёрными листьями и розовые магнолии. Дивные большие цветы, бледно-розового цвета, покрывали магнолии так густо, что они казались гигантскими розовыми яйцами. Аромат был силён, но нежен. Я невольно остановился, вдохнул всеми лёгкими душистый воздух и, забыв все раздирающие меня мысли, воскликнул:

— О, как прекрасна, как дивно прекрасна жизнь!

— Да, мой мальчик, — тихо сказал Али. — Обрати внимание на эти рядом живущие группы деревьев. Чёрные клёны и розовые магнолии, — и всё вместе, будучи таким ярким контрастом, живёт в полной гармонии, не нарушая стройной симфонии Вселенной. Вся жизнь — ряд чёрных и розовых жемчужин. И плох тот человек, который не умеет носить в спокойствии, мужестве и верности своего ожерелья жизни. Нет людей, чьё ожерелье жизни было бы соткано из одних только розовых жемчужин. Ты уже не мальчик. Настала и для тебя минута выявить твою честь, мужество, верность.

Мы двинулись дальше; вдали сверкнуло озеро; мы ещё раз свернули в аллею мощных кедров и подошли к беседке, устроенной из плакучего вяза. В ней было тенисто, с озера веяло прохладой. Безмятежность жизни, казалось, ничем не нарушалась здесь. Но слова Али подняли во мне бурю. Мысли мои кипели; я чувствовал, что услышу сейчас что-то роковое, но никак не мог привести себя в равновесие.

— Вчера ночью я спас две жизни, хотя тебе может казаться, что я обрёл их на муки и угрозу смерти. Я давно тружусь, чтобы пробудить самосознание в этом народе, разбить стену фанатизма, пробить тропинку хотя бы к самой начальной культуре и цивилизации. Я открыл здесь несколько школ, отдельно для мальчиков и мужчин и для девочек и женщин, где бы они могли учиться грамоте на своём и русском языках и самым элементарным основам физики, математики, истории. Все мои начинания встречались и встречаются в штыки; и не только муллами, но и царским правительством. С обеих сторон я слышу революционером, неблагонадёжным челове-

ком. Я говорю тебе это для того, чтобы ты понял, в какое положение попал, и отдал себе точный отчёт в своих дальнейших действиях и поступках. Я заранее тебя предупреждаю: на тебе не висят никакие обязательства, ты совершенно свободен в своём выборе и поведении. И что бы ты ни услышал от меня, — ты сам, добровольно, выберешь свой путь. Сам нанижешь в ожерелье матери-жизни ту жемчужину, цвет и величину которой создашь своим трудом и самоотверженной любовью. Если ты захочешь устраниться от борьбы за брата и Наль, — твой «лорд Бенедикт», — чуть улыбнулся Али, — отвезёт тебя в Петербург, где ты будешь в совершенной безопасности. Если же верность твоя последует за верностью твоего брата, — ты сам определишь те помощь и роль, которые пожелаешь осуществить.

Наль воспитана мною. Только внешняя форма воспитания — на восточный манер — соблюдалась в её жизни, и то весьма не строго. Наль хорошо образованна, и её блестящие способности помогли ей узнать гораздо больше, чем знает любой окончивший европейский университет человек. Пять лет назад я уговорил твоего брата начать заниматься с Наль математикой, химией, физикой и языками, так как частые отлучки из города не позволяли мне самому регулярно заниматься с нею. Отсюда и происхождение тех восточных халатов и накладных бород и усов, которые вы спрятали сегодня с Флорентийцем в гардеробе твоего брата. Тупая матрона, старая мать Али Махмуда, когда-то спасённая мною от разорения и гибели, оказалась злой и неблагодарной. Она всячески препятствовала общению Наль с другими людьми. Только переодеваясь в другие халаты, мог твой брат проникать как учитель в разных гримах в рабочую комнату Наль. И старая, подслеповатая женщина была уверена, что впускает всё разных учителей. Охраняя Наль во время уроков, она спала и так смешно храпела, что заставляла Наль иногда громко смеяться, но это не будило глухую матрону.

Я представил себе два прекрасных молодых существа, которые учатся под охраной полуслепого, полуглухого стража, вспомнил почему-то, как сам я разыгрывал роль: «Вы хромы, глухи и немые», — и закатился своим мальчишеским смехом.

Али погладил меня по плечу и продолжал:

— Время шло. Я понял давно, какое чувство возникло между Наль и твоим братом. Было бы бесполезно взывать к чести и мудрости твоего брата, он и без того был на высоте их. Я не мешал этому чувству, так как всё равно не видел для Наль иного выхода, нежели побег из этого гнетущего места, и готовился к нему заранее. Старая дурища, тётка Наль, испортила весь мой план. Она завела за моей спиной интриги с муллой и дервишами. Довела дело до сговора о браке несчастной Наль с самым оголтелым и злым из всех религиозных фанатиков, каких я здесь знаю. И теперь готовится объявление

религиозного похода против меня, ведь я не давал согласия на этот брак и покровительствовал христианам. Не буду утруждать тебя подробностями, — ты сам видел, что избежать сговора не удалось.

В тот миг, когда Флорентиец тебя вывел из сада, на женской половине тоже шёл пир. Там всё было подготовлено к законному похищению невесты. Роль невесты играл Али, мой племянник, пробравшийся в темноте в одежде Наль на женскую половину и успевший сесть на место невесты, пока продолжался беспорядок с освещением. Темнота немного дольше длилась на женской половине. Всё совершилось честь честью. Невеста была выведена старухами в сад и там, переданная из рук в руки, «похищена» женихом. С выстрелами, шумом и гамом, как полагается по обряду для знатного купеческого дома, было совершено похищение. По дороге приключилась какая-то заминка с одной из лошадей. И пока все участники этого действия с факелами и ножами вместе с женихом поправляли упряжь, Али сбросил с себя халат, роскошные покрывала и оставил в повозке захваченные с собой туфельки Наль, сам же выпрыгнул бесшумно из телеги — на что он большой мастер — и, скрывшись во тьме, благополучно добрался до моего уже уснувшего дома, где мы его поджидали у калитки вместе с Флорентийцем.

Немало выстрадал Али. Ты не мог не заметить перемены, происшедшей в нём за одну ночь. Он обожал с детства сестрёнку, часто присутствовал вместе с ней на уроках у твоего брата. Наль — его второе «я»; и, пожалуй, это второе «я» ему дороже собственной жизни. Буря ревности, тяжёлый покров предрассудков, мечты об особенной судьбе для Наль и себя, — всё это окутывало Али и должно было или сгореть в нём, или похоронить его под собою. Он никак не ожидал, что первым другом и покровителем в жизни Наль будет не он. Не верил, что я стану на сторону твоего брата и благословлю эту любовь, хотя чистой и прекрасной он признавал её всегда. Уступить Наль другому мужчине, да ещё европейцу, было для него непереносимо, как и дозволить ей уйти в опасный путь без себя. Всё произошедшее с ней сначала разбило его. Его спасла беспредельная верность мне, верность и любовь ребёнка, потом юноши, от которого у меня не было тайн. Его истинная поглощающая любовь к Наль, заставившая забыть о себе и думать о ней, спасла не одну, а три жизни, которые были бы прерваны его рукой, если бы верность не победила всё. В эту ночь он добровольно выбрал тропу жизни и надел на нить своего ожерелья чёрную жемчужину отречения, как листья чёрного клёна, чтобы помочь жить женщине, так похожей на розовую магнолию...

Как я уже сказал, не сегодня завтра объявят религиозный поход против меня. Что это означает, я лучше не буду тебе объяснять. Когда, доехав до дома жениха, похитители невесты увидели, что в повозке лежит лишь

одна одежда Наль, они мгновенно известили муллу и дервишей и, посоветовавшись с ними, вернулись в мой спавший дом целой толпой с омерзительными криками, оскорблениями и угрозами. Я молча стоял среди этой разъярённой толпы. И наконец, воспользовавшись минутой относительного затишья, велел слугам вызвать старух, которые должны были вывести Наль в сад в условленное место к жениху и его друзьям. Толпа ждала. Казалось, всё вокруг было наэлектризовано токами бешенства. Шли минуты, походившие на часы. Переполох в доме, конечно, давно разбудил всех на женской половине. Вскоре шесть старух во главе со старой тёткой Наль появились перед толпой и встали рядом со мной.

— Эти люди, — сказал я им, — обвиняют вас в том, что вы не Наль вывели в сад, а одну её одежду отдали жениху.

И среди озверелых мужчин и сначала дрожавших от страха, но затем пришедших в бешенство женщин поднялся невообразимый вой. Обе стороны готовы были вцепиться друг в друга. Размахивая руками, вопя какие-то проклятия, старая тётка Наль утверждала, что сама вложила руку Наль в руку жениха. Остальные подтвердили, что видели, как жених взял Наль на руки, и даже заметили, что он был слабоват для того, чтобы нести её. Я посмотрел на жениха, он потупился и сказал, что ему не приходилось носить на руках женщин и что, действительно, Наль показалась ему тяжелее, чем он предполагал. На мой вопрос, донёс ли он её и посадил ли в телегу, он указал на двух своих товарищей, людей большого роста и редкой силы, и сказал, что сам он едва смог донести Наль до калитки, а там её взял один из его товарищей и донёс до телеги; а в телегу её осторожно положили его рослые друзья. Пришлось мне и их спросить, была ли то Наль или только её одежда, которую они уложили в телегу. Оба утверждали, что несли невесту. Я стал уговаривать их разойтись, чтобы не привлекать к семейному скандалу внимание русских властей. Я читал смертельную ненависть в их глазах и нисколько не сомневался, что если бы не рассвело и они не боялись бы отвечать перед российским судом, — они бы прикончили на месте и меня, и Али, и многих из моих домочадцев и гостей. По местным понятиям, весь позор за этот скандал падал на жениха. Он злобно посмотрел на своих рослых товарищей, какое-то подозрение вдруг мелькнуло в его глазах, и, грубо обругав их, он круто повернулся к ним спиной и быстро побежал к калитке. Остолбнев на миг, все его товарищи, мулла и толпа, пришедшая с ними, — все бросились бежать вслед за женихом, натывая друг на друга, валя кого-то с ног, застревая в узкой калитке. За стеной сада послышалась перебранка жениха с товарищами и муллой, несколько выстрелов, крики. Но калитка захлопнулась, ещё раз послышались крики, шум отъезжающей телеги, конский топот — и всё смолкло.

Старухи были искренне убиты позором и несчастны. Они клялись и божились, что вечером во время пира Наль сидела с подругами за столом, что они сами накинули ей ещё и чёрное покрывало поверх драгоценных уборов, и наперебой рассказывали, как тяжело было жениху нести невесту, как он передал ношу товарищу и тому подобное. Я велел всем идти спать, сказав, что сам буду искать Наль, чтобы ни в дом, ни из дома в течение суток никто не входил и не выходил.

Сейчас я уже имею известие, что твой брат и Наль едут благополучно в скором поезде в Москву. Но это не значит, что они уже спасены. Пока они не доберутся до Петербурга и не сядут на пароход, отходящий с Невы в Лондон, — нельзя быть уверенным в их безопасности.

— Перейдём теперь к твоей роли, — продолжал Али Мохаммед после короткого раздумья. — Ты невольно запутан в эту историю, как брат Николая, поскольку злой глаз религиозных фанатиков видит врагов во всех друзьях того, против кого объявляют религиозный поход. А друг — это каждый, кто близок или хорошо знаком с настоящими друзьями преследуемого. К тому же дервиши решили, что Наль похитил незнакомый им хромой, глухой и немой старик, присутствовавший на пиру, и этот след может привести к тебе, а уж к Флорентийцу непременно.

Ты, повторяю, свободен в своём решении. Ты можешь мне сейчас сказать, что желаешь остаться непричастным к этому делу, — и тогда ты немедленно уедешь в К., — Али назвал крупный торговый город, — с письмом к моему другу, у которого ты проживёшь недели две-три и вернёшься в Петербург. Если же ты хочешь помогать мне бороться за жизнь брата, — придётся сказать своё решительное слово и начать действовать.

Так закончил Али свой разговор со мной.

ГЛАВА 4

МОЁ ПРЕВРАЩЕНИЕ В ДЕРВИША

В моём сердце стало как-то ясно и тихо. Я больше ни минуты не тревожился, и даже волнение за судьбу брата перестало меня беспокоить. Присутствие Али, его мощь влили в меня уверенность и энергию.

Чем больше я погружался мыслью в страшную рознь народов, чем ярче представлял себе невежество бедного, неграмотного и почти всегда голодного народа, который даже и религию выбрать себе самостоятельно не может, а попадает с рождения в лапы фанатиков, и который всю жизнь всем рабски повинуется, тем яснее становилось мне, что я не могу остаться равнодушным к судьбе хотя и чуждого мне по крови, но, конечно, такого же народа, с красной кровью и страждущим сердцем, как и мой родной, зажатый царской лапой русский народ. И чем больше я думал, какой странной случайностью я оказался связанным сейчас с судьбою чуждого народа, вторгшись в самую сердцевину его предрассудков, тем сильнее сознавал, что нет случайностей, а есть целая сеть закономерных действий. Что во всей окружающей нас жизни, как и в природе, нет явлений случайных, а царит гармония всегда закономерных и целесообразно действующих сил, связывающих всех людей воедино, как группы чёрных клёнов и розовых магнолий.

Моё спокойствие не то что возрастало с каждой минутой, оно как бы утверждалось, черпая силу в самой глубине моего сердца, которое, казалось, я понял впервые. Видя моё молчание, Али прибавил:

— Не думай, что тебе надо дать ответ сию минуту. Хотя, конечно, временем мы не располагаем; я ожидаю самого быстрого хода событий.

— Мой ответ готов, — сказал я. — Я так глубоко спокоен, решение моё так ясно, что я ещё ни разу за всю свою жизнь не припомню подобного чудесного и необычного состояния духа, подобного мира в себе. Я не толь-

ко не колеблюсь, но мне даже не представляется возможным пойти другим путём, где бы я мог отделить себя от брата, от вас, от Флорентийца и всех ваших друзей. Ведь если бы мой брат был здесь, — он соединил бы свою жизнь с вашей и пошёл бы за вами, хотя вы индус, и этот народ не является и для вас родным народом. Моё решение не нуждается в обдумывании. Я иду с вами, я верен моему брату-отцу и буду отстаивать всеми силами его жизнь и счастье так же, как и раскрепощение того народа, которому вы так беззаветно и самоотверженно служите.

— Твоё спокойствие, друг, убеждает меня более всяких клятв и обещаний. Вернёмся в дом, там могут быть какие-нибудь новые вести.

С этими словами Али Мохаммед встал, обнял меня и, положив руку мне на голову, заглянул глубоко в мои глаза своими агатовыми бездонными глазами. Трепет какого-то восторга охватил меня, я точно потерял сознание на миг и пришёл в себя уже в кедровой аллее, по которой мы шли, любуясь сверканием озера на ярком солнце.

Аромат деревьев, пение птиц, треск цикад снова сопровождали нас. Никогда ещё я не чувствовал себя так необычайно. Казалось, все внешние факторы должны были бы подавить мой дух. А на самом деле, впервые среди величавого молчания природы, в обществе этого человека, в котором я чувствовал необычные силу и чистоту, я понял какую-то иную, ещё неведомую мне жизнь сердца. Я ощутил себя единицей этой беспредельной Вселенной, среди которой я жил и дышал; и мне казалось, что нет разницы между мною, солнцем, сверкающей водой и шумящими деревьями, что все мы отдельные ноты той симфонии Вселенной, о которой говорил Али. Я точно прозрел в какую-то глубь вещей, где всё — революции, борьба отдельных людей, борьба страстей целых наций, войны и ужасы стихий, — всё вело человечество к улучшениям, к завоеваниям в коллективном труде великих ценностей равенства и братства, к той гармонии и красоте, где свобода какой-то новой жизни должна дать всем людям возможность отдавать всё лучшее в себе на общее благо и получать то, что нужно каждому для его совершенствования и индивидуального счастья...

Я ушёл в свои мысли, какая-то радость наполнила всё моё существо, и я не заметил, как мы подошли к дому и встретились подле него с Али-молодым и Флорентийцем. Обменявшись малозначительными фразами по поводу красоты парка, мы вошли уже вчетвером в дом и уселись на открытой веранде у стола, который был накрыт для чаепития. Жара немного спала, нам подали чай в больших чайниках красивой расцветки и оригинального китайского рисунка. Только успели мы выпить по чашке чая, как вошёл слуга и тихо сказал несколько слов хозяину. Тот извинился перед нами и вышел. Мы молча остались сидеть за столом. Каждый был погружён в свои

думы, никого не стесняло это молчание. Все точно сосредоточились в себе, готовясь, каждый по-своему, к грядущим событиям. Лично я, — как казалось мне, — точно и не жил до сегодняшнего дня. Только сейчас я ощутил свою связь со всеми людьми, знакомыми мне и незнакомыми, далёкими и близкими, и оценивал жизнь по-новому, решая для себя вопрос, что значит свой или чужой и кто же свой, а кто чужой. По свойственной мне рассеянности мне показалось, что прошло очень мало времени; но на самом деле прошло около часа.

Вошёл слуга и сказал Али-молодому, что хозяин просит всех пройти к нему в кабинет. Мы встали, Флорентиец обнял меня за плечи, ласково прижав к себе на минуту, и мы прошли на другую половину дома, которой я ещё не видел.

Через ту же переднюю, в которую мы вошли с Флорентийцем, как только экипаж остановился у подъезда дома, мы попали в большую комнату — кабинет Али Мохаммеда. Мы увидели его за письменным столом, и у стола, в глубоком кресле, обитом ковровой тканью, сидел в жёлтом халате и в остроконечной шапке с лисьим хвостом дервиш. Сюрпризы последних суток, должно быть, так расшатали мои нервы, что я едва не вскрикнул от изумления и растерянности. Я всего ожидал. Но увидеть дервиша в кабинете Али, — этого мои нервы не вынесли; я почувствовал такое раздражение, что готов был броситься на него.

Али-молодой, взглянув на меня и поняв по моему расстроенному лицу, что я переживал, шепнул мне:

— Не все, кто одет дервишем, — на самом деле дервиши. Это друг.

Я постарался взять себя в руки, стал пристально разглядывать мнимого дервиша. И ещё раз устыдился своей невыдержанности, отсутствию такта и внимания. Если бы я начал с того, что посмотрел в лицо этого человека и сосредоточил бы своё внимание на нём, а не на себе, мне не из-за чего было бы раздражаться. То был юноша не старше сидевшего рядом со мною Али Махмуда.

У него были тёмные глаза, мягко, как звёзды, сверкавшие из-под нахлобученной шапки, прелестный нос, продолговатый овал лица и загорелые и огрубевшие, но прекрасной формы руки. Вся его фигура, несмотря на нищенский халат, дышала благородством. Большой ум читался на его лице, так и хотелось сбросить эту тяжёлую и противную шапку, чтобы увидеть лоб, должно быть лоб мыслителя.

Дервиш говорил на непонятном мне языке; и, к стыду своему, я даже не мог определить, что это за язык. Я знал, что мне расскажут, о чём шла речь, и отдался наблюдениям. Флорентиец сидел спиной к окну напротив молодого дервиша, на которого прямо падал свет. Хотя окно было занавешено

лёгкой тканью цвета слоновой кости, света было совершенно достаточно, чтобы ни малейшее движение на лице незнакомца не ускользнуло от меня. Поистине, он тоже был красавцем. Выше среднего роста, широкий в плечах, он напоминал мне чем-то неувимым моего брата. Лицо Али-старшего выражало такую серьёзность, что мне снова вспомнились все грозящие брату беды, и снова острая боль пронзила сердце.

Незнакомец опять заговорил. Его голос, оригинальный, низкий баритональный, как бы металлический, мог бы составить честь любому оперному певцу. Он, очевидно, что-то предлагал. Все молчали, точно обдумывая его предложение, и наконец Али-старший, взглянув на меня, сказал:

— Прости, друг. Ты не понимаешь нашего языка, я вкратце объясню тебе суть дела. Мулла и жених, якобы на основании свидетельских показаний моих гостей, мальчиков-прислужников и взрослых слуг, утверждают, что Наль была похищена тем гостем на пиру, которому я посылал блюда со своего стола. Они говорят, что это был важный старик, хромой и седой, который вышел из-за стола как раз в тот момент, когда была похищена Наль. Мулла объявил, что здесь замешано колдовство, и обвиняет в нём меня и моего старого гостя; его теперь повсюду ищут. Религиозный поход против меня уже объявлен. Две из построенных мною школ уже сровняли с землёй. И каждой женщине, у которой найдут книги, будет объявлено отлучение. А это хуже смерти в здешних глухих и диких местах. Далее молва утверждает, что кто-то видел, как мой гость спрятался в доме твоего брата. Надо полагать, что дикая орда набросится на дом; может быть, сожжёт его, как и мой. Мне необходимо сейчас же поехать в город, чтобы спасти людей, оставшихся там, от верной гибели. Тебе же, вместе с Флорентийцем, следует отправиться на станцию железной дороги и постараться добраться до Петербурга, чтобы там помочь нашим беглецам. Я не сомневаюсь, что за всеми нами идёт слежка. Царское правительство не вмешивается в религиозные погромы, не видит и не слышит их, пока ему это удобно. Ни тебе, ни твоему брату не уйти живыми, если вас где-либо обнаружат. Всем известна наша дружба, и если схватят тебя, — ты ответишь за всех. Этот друг предлагает тебе переодеться сейчас же в платье дервиша, а Флорентийцу — в обычное платье простого купца и уехать в вагоне третьего класса в Москву. По дороге сами уже будете соображать, как вам лучше спастись, я же буду посылать вам телеграммы до востребования на все узловые станции и оповещать о ходе событий. Не забывай, что тебе надо думать не о себе. Спасая свою жизнь, ты думай только о лишней паре рук и ног для защиты друга, брата-отца. Весь героизм сердца, вся сила мужества должны быть собраны, чтобы не выдать себя в опасные минуты ни одним растерянным взглядом или движением. Смотри прямо в глаза тем, кто тебе будет казаться подозрительным.

Стань снова временно глухонемым и, со свойственным таким людям вниманием, смотри на рот говорящих. Это будет сбивать с толку преследователей. Времени остаётся мало. Али и новый друг помогут тебе переодеться, если ты захочешь принять это предложение. Я же передам Флорентийцу всё нужное для вашего пути и условлюсь о телеграммах.

Он поднялся и вышел вместе с Флорентийцем, а Али-молодой и новый знакомец стали облачать меня в платье дервиша, на что я согласился без колебаний. В довершение всех бед в дело снова пошла бесцветная жидкость. На этот раз уже всё тело, смазанное ею, стало тёмным, а руки, ноги и лицо, покрытые слоем жидкости дважды, стали такими, словно их сожгло солнцем, как-то сморщились, и я стал выглядеть лет на 40. Но теперь я не вздыхал по своей исчезнувшей юности и утраченной белизне. Дело шло уже не о маскарade, а о жизни дорогого мне брата и моей собственной, и я старался запомнить характерные жесты и манеры, которые мне показывал мой новый друг, мнимый дервиш.

Едва я кончил одеваться, как вошёл Флорентиец. Его узнать было невозможно: длинная чёрная борода, голубовато-серая чалма и пёстрый ситцевый халат, подпоясанный платком, на ногах — мягкие чёрные сапоги. Он имел вид средней руки торговца, отправляющегося за товарами. Его лицо и безукоризненные руки не уступали в черноте моим, а ногти и зубы были отвратительно грязны. В прежнее время я бы покатился от хохота; но сейчас я принял всё как должное, оценив его неузнаваемость.

— А шапку к голове вы ему приклеили? — спросил он. — Ведь может случиться, что кто-либо попытается сбить шапку с его головы.

Он достал из своего огромного кармана тёмную ермолку, натянул её мне на голову так туго, что, казалось, сорвать её можно только вместе с кожей, и поверх, смазав внутреннюю сторону остроконечной шапки клейкой жидкостью, напялил и её на мою несчастную голову. Я едва держался на ногах, так было жарко; голову сжимало, стало тошнить.

Вошёл Али-старший и, очевидно, понял моё состояние. Он вынул из стола коробочку, открыл её и положил мне в рот белую пилюлю. Остальные, закрыв коробку, передал Флорентийцу.

— Лошади ждут по другую сторону озера, вы поедете оттуда, — сказал Али, — времени едва хватит доехать до станции.

Мы двинулись кратчайшим путём к озеру вавоём с Флорентийцем, прошившись наскоро с обоими Али и новым знакомым. Подойдя к озеру, мы сели в лодку. Флорентиец быстро переправил её на другую сторону, и через несколько минут мы увидели быстро приближающуюся к нам простую бричку. Ни словом не обменявшись с возницей, мы сели в неё и покатали по направлению к вокзалу.

Вокзал был в верстах трёх от города, и мы, минуя город, выехали к нему совсем с другой стороны. В нашей бричке мы обнаружили два узла, связанных из ситцевых платков, и два убогих деревянных сундучка. Флорентиец вёл себя так, как будто никогда ничего, кроме ситца, не носил и об элегантных чемоданах понятия не имел. Подъехав к вокзалу, мы соскочили с брички и очутились в густой толпе восточного люда, галдевшего и возбуждённого. На нас не обратили никакого внимания, увидев простых, бедно одетых купца и монаха, а продолжали зорко вглядываться во всех подъезжающих, побогаче одетых.

К нам подошёл старик и предложил помочь нести узлы. Флорентиец передал ему мой узел и сундучок, взял свой под мышку, узел в руку, точно это были пакеты с ватой, сказал что-то старику, и мы двинулись на вокзал. Там поджидал нас другой старик, он подал Флорентийцу два билета. Едва мы вышли на платформу, как подошёл поезд. Мы разыскали наш вагон третьего класса и уселись на грязной скамье. На полу валялись кожура бананов и корки апельсинов, отрезки дынь и арбузов, куски хлеба и обрывки бумаги.

Едва мы уселись, как на платформе поднялся шум, толпа, через которую мы прошли, ворвалась, галдя, на перрон. Размахивая руками, люди бросились мимо загораживавшего им путь жандарма к вагонам первого класса. Толпа лезла и в международный вагон, куда её не пускали. Начальник станции, жандарм, проводники — все были в один миг разбросаны. Несколько человек всё-таки пролезли в вагон, кого-то разыскивая, крича и переключаясь.

Перепуганные, ничего не понимавшие немногочисленные пассажиры тоже подняли крик. Жандарм подавал тревожные свистки, и к нему на помощь уже летели со всех сторон носильщики, жандармы и группа вооружённых солдат. Толпа успела обшарить международный вагон, перебралась в первый класс; кое-кому удалось обежать и оба вагона второго класса. Но здесь их настиг жандармский офицер, зычным голосом выстроил солдат в строевой порядок, и восточная толпа мгновенно рассеялась, так и не успев добраться до вагона третьего класса. Убегая со всех ног, проскакивая через вагоны на запасных путях, люди скрылись, точно их не бывало. Впрочем, вероятно, их и не интересовали убогие вагоны; ища самого Али или кого-либо из близких ему, они не могли предположить, что искать следует в грязи и пыли третьего класса.

Поезд всё ещё стоял, хотя время отправления уже истекло. Я обливался потом и не раз вытирал своё лицо большим пёстрым платком, данным мне дервишем, и именно тем жестом, которому он меня обучил. Хотя я и был совершенно уверен, что нас узнать невозможно, но не мог не заме-

тить, что в глазах моего спутника мелькнуло внезапно какое-то беспокойство.

Я выглянул на перрон и увидел, что к старику, нёсшему наш багаж и теперь стоявшему в дверях вокзала, подошёл мулла. Но как раз в эту минуту начальник станции махнул рукой, раздался оглушительный третий звонок, обер-кондуктор свистнул, в ответ раздался свисток паровоза и наконец мы двинулись.

Не успели мы отъехать, как в наш вагон с противоположной стороны перрона впрыгнул, как кошка, молодой сарт¹. Он часто и трудно дышал, очевидно, очень быстро бежал. Войдя в вагон, он не сел, а шлёпнулся рядом с нами. Я подумал, что он вот-вот упадёт в обморок.

Поглядев на него, Флорентиец покачал головой и обратился к двум старым сартам, сидевшим в глубине вагона. Речи его я не понял, но один из стариков встал и подал запыхавшемуся сарту воды в кувшине из тыквы. Тот выпил её жадно, но всё не мог прийти в себя. Наконец он несколько поуспокоился и спросил Флорентийца, сидевшего с ним рядом и почти закрывавшего собою мою небольшую фигуру, не заметил ли он кого-либо, кто садился в поезд на этой станции.

— Как не заметить? Я сам садился, мой племянник садился, да ты садился, — ответил ему, смеясь, мой друг. — Нет, впрочем, ты не садился, ты прыгнул, — прибавил он, и в вагоне рассмеялись.

Молодой сарт уже совсем пришёл в себя.

— От кого ты так убегал? Тебя преследуют царские власти? — спросил его Флорентиец.

— Нет, — ответил он, — я догонял поезд, чтобы передать одному нашему купцу письмо, очень для него важное. Мне сказали, что непременно он или его племянник едут в этом вагоне.

И он встал с места, обошёл вагон, поблагодарил старика, давшего ему воды, и, поговорив с ним, опять вернулся к нам.

— Нет, — сказал он. — Здесь нет ни дяди, ни племянника, которых я ищу, а в вагонах первого класса нет ни их рыжего друга, ни хромого старика. Придётся мне на повороте спрыгнуть и караулить следующий поезд.

Флорентиец важно покачал головой, выказывая сочувствие к его неудавшейся миссии и желанию спрыгнуть с поезда на ходу. Молодой сарт объяснял Флорентийцу и столпившейся вокруг нас кучке любопытных, что купец, которого он искал, — его благодетель, и если кто-либо скажет ему, кто сел

¹ Сарты — общее название оседлого населения Средней Азии, существовавшее вплоть до 1917 года; полагают, что так называли в основном оседлых узбеков и таджиков. — *Прим. ред.*

на этой станции в поезд, кроме нас с Флорентийцем, то он сам и богатый купец-благодетель отблагодарят его.

Один из стариков сказал, что видел, как в последний вагон сели две женщины и молодой человек. Лицо сарта зажглось, точно факел сверкнул и отразил своё пламя в его глазах; он растолкал окружавшую нас кучку пассажиров и стремглав бросился в соседний вагон.

Прошло минут двадцать, он снова возвратился к нам; довольно постное выражение его физиономии говорило без слов, чем завершились его поиски. Его вторичное появление никого уже не заинтересовало; кое-кто из пассажиров стал готовиться к выходу на ближайшей станции.

Сарт снова сел возле Флорентийца и стал шептать ему что-то на ухо, опасаясь, чтобы я не услышал его слов, но Флорентиец успокоил его, показав ему на мои уши. Всё же раза два ещё он взглянул на меня подозрительно, но заметив, что я пристально гляжу на его рот, отвернулся и успокоился. Подумав, что толку от моих наблюдений всё равно мало, я решил тоже отвернуться и стал смотреть в окно.

Поезд шёл быстро, очевидно, машинист решил нагнать опоздание. Сколько мог охватить глаз — всё шла безводная, голая степь. Ни дерева, ни кустика, ни жилья. Я невольно думал о трудной жизни народа, который выращивает чудесные фрукты, богатейшие виноградники и пышные цветы, искусственно орошая землю. Между тем поезд стал заметно замедлять ход. Мы огибали глубокий овраг, на дне которого сверкала маленькая струя воды. Очевидно, здесь снова начиналась сеть арыков, отчего вся местность резко изменилась. Замелькали сады кишлаков, стали попадаться гигантские фиговые, ореховые и каштановые деревья.

Поезд ещё немного замедлил ход, и вдруг я увидел сарта: артистически рассчитав свой прыжок, он исчез в глубоком овраге. Надо сказать, исчез он вовремя. Не успел я повернуться к Флорентийцу, как открылась дверь вагона и вошли два кондуктора, спрашивая билеты. Флорентиец подал наши билеты, сходявшие на следующей станции отдали свои, кондукторы прошли дальше, и я надеялся, что Флорентиец мне теперь расскажет, о чём шептал ему сарт. Но он незаметно приложил палец к губам и дал мне прочесть записку, которую держал в руках.

Это был текст телеграммы до востребования, написанной по-русски в город С. купцу К., с извещением, что купец А. живёт, — дальше стояло многоточие. Я не понял, о чём эта записка в руках Флорентийца, хотя и сообразил, что дал ему её выпрыгнувший из вагона сарт.

Через четверть часа мы остановились у следующей станции, но никто не сел в наш вагон. Флорентиец вынул из своего узла две книги, передал одну мне. Его книга была написана на арабском языке, а та, что оказалась у ме-

ня, напоминала толстый затрёпанный молитвенник, и шрифт её был так же мне понятен, как и страница того гигантского Корана, который показывал мне брат в одной из мечетей города.

Я улыбнулся и подивился тонкой наблюдательности того, кто собирал нас в путь. Какая же ещё книга могла быть в руках у дервиша, как не потрёпанный, выдавший виды в бесконечных странствиях бездомного монаха молитвенник. Какой-то богобоязненный старик принёс мне дыню и кусок хлеба, другой протянул два куска сахара. Я ещё раз мысленно поблагодарил человека, отдавшего мне свою одежду дервиша, за преподанный урок поведения, приличествующего монаху. Флорентиец объяснял всем, что я глух, но святой жизни, и мои молитвы хорошо доходят до Бога. Я же, опустив глаза долу, прикладывал руку к груди и несколько раз кивал головой, не глядя на тех, от кого получал подавание. Кое-кто, услышав, что я святой жизни и хорошо привечен Богом, давал мне даже деньги.

Так ехали мы до самого вечера, и снова сразу настала ночь. В вагоне всё утихло. Флорентиец подложил мне под голову мой узел, оказавшийся мягким, заставил лечь, а сам сел у моих ног. Не знаю, долго ли я спал, но проснулся я от того, что кто-то сильно меня тряс. Я никак не мог проснуться, хотя сознавал, что меня будят. Наконец чьи-то сильные руки поставили меня на пол, и я почувствовал резкий запах нашатыря. Я чихнул и окончательно проснулся. Флорентиец стоял рядом со мною, оба сундучка наши были связаны и перекинуты через его плечо, один узел он держал под мышкой, тот, на котором я спал, он взял в руку, другой показал на дверь и подтолкнул меня к ней.

В вагоне было почти совсем темно. Кое-где свечи в фонарях уже догорали, да и висели фонари очень редко и высоко. Спросонья я плохо соображал, но двинулся к двери. Мне представилось, что мы будем прыгать, как сарт, с поезда, который, кстати сказать, мчался опять на всех парах; и я приходил в ужас от своего мешковатого платья, длинного, неудобного, стеснявшего мои движения. Ни с чем логически не связанная, вдруг мелькнула мысль, что и шапку-то мне приклеили к голове, чтобы она не свалилась во время прыжка.

Мы бесшумно вышли на площадку вагона, и я взялся за наружную дверь, чтобы её открыть.

— Рано ещё, — сказал мне тихо, в самое ухо, Флорентиец.

— Так мы на всём ходу и будем прыгать? — спросил я его так же тихо.

— Прыгать? Зачем прыгать? — сказал он смеясь. — Мы подъезжаем к большому городу, где живёт мой друг. Сойдём на станции, возьмём извозчика и поедем к нему. Но пока я тебе не скажу, сохраняй полное внешнее безразличие дервиша и, кто бы ни обратился к тебе с вопросом, показывай

на уши. Поезд замедляет ход. Сходи первым и подай мне руку. И ни на одну минуту не отходи от меня ни на станции, ни в доме моего друга, куда мы приедем. Так и держись, либо за мою руку, либо за пояс, как если бы ты был слепым и не мог передвигаться без моей помощи.

Поезд подходил к перрону скудно освещённой станции. Вокруг царилась ночь, и казалось, что на станции всё замерло. Мелькнула красная фуражка дежурного, за нею рослая фигура жандарма, — и поезд остановился. Мы сошли с перрона, прошли через полупустой зал третьего класса и вышли на крыльцо. Здесь к Флорентийцу подошёл какой-то сарт и предложил довести до ближайшего кишлака. Флорентиец объяснил ему, что нам нужно в город, в торговые ряды. Сарт обрадовался; ему было как раз по пути, и он думал, что ночью сможет сорвать с нас хороший куш. Не тут-то было. Флорентиец начал яростно торговаться, как истый восточный купец. Он так и сыпал горохом слова, закатывал глаза и разводил руками вместе с возницей. Оба они горланили минут десять, наконец сарт вздохнул, закатил глаза и воззвал к Аллаху. Только этого, казалось, и ждал Флорентиец. Сложив руки и также воззвав к Аллаху, он выдвинул меня вперёд, и возница увидел перед собою дервиша. Он моментально утих, поклонился мне и позвал нас к стоявшей тут же телеге. Мы взгромоздились на неё и поехали в город, который был в двух верстах от станции.

ГЛАВА 5

Я В РОЛИ СЛУГИ-ПЕРЕВОДЧИКА

Мы ехали, храня полное молчание. Возница пытался было задавать вопросы Флорентийцу, но, получая односложные ответы, произнесённые сонным голосом, решил, что мы устали, должно быть, от долгого пути, и перенёс своё внимание на лошадь. Лошадка трусила по мягкой дороге. Тьма освещалась только мерцающими звёздами, и мысли мои, точно замёрзшие во время моего тяжёлого сна в вагоне, вновь зашевелились.

Мне ещё не приходилось слушать молчание ночи в степи. Снова — как и в парке Али — меня охватило чувство преклонения перед величием природы. Я смотрел на усыпанное звёздами небо и разглядел впервые многие созвездия, о которых до сих пор только читал или слышал. Звёзды не походили на наши северные. Они казались гораздо крупнее, мерцая, точно лампы, и я наконец увидел воочию тот дрожащий свет звёзд, о котором пишут поэты. Даже небо показалось мне более низким. Прорезанное широкой полосой Млечного Пути, оно сверкало контрастами полной тьмы и света.

Я вернулся мыслями к Али Мохаммеду. Опять меня пронзила радость от встречи с ним и мысль о красоте и гармонии природы, — я подумал о мощи любви и счастья, которыми щедро одаряет природа человека; о тех великих скорбях и слезах, которыми наполняет мир сам человек, неизменно оправдывая свои действия именем великого Творца; и будто бы в защиту Его отравляя мир жестокостью своего фанатизма.

Мерный стук копыт и покачивание тележки на мягкой дороге не усыпили меня; но внезапно среди ночи я почувствовал себя одиноким, несчастным и беспомощным... Но то было лишь мгновение слабости. Я вспомнил слова Али о том, что настало моё время выказать мужество и преданность. И волна бодрости, даже радости, опять поднялась во мне. Я захотел немедленно вступить в борьбу не только за жизнь и счастье любимого брата и Наль, но и за всех, страдающих по вине фанатиков, тех, кто считает свою религию

единственной истиной, кто давит всё живое, что рвётся к свободе и знанию, к независимости в жизни... Я прикоснулся к Флорентийцу, благодарно приник к нему и встретил его добрый, ласковый взгляд, который, казалось, говорил мне: «Нет одиночества для тех, кто любит человека и хочет отдать свои силы борьбе за его счастье».

Мы уже въезжали в город. Окраины его напоминали сплошной сад, но и центр города оказался таким же. Ночь была уже не так темна, в кольце зелёных улиц вырисовывался гигантский силуэт мечети, показались торговые ряды. Флорентиец приказал вознице остановиться, мы сошли, рассчитались с ним и отправились вдоль рядов, кое-где охраняемых ночными сторожами. Два раза мы свернули в тихие спавшие улицы и наконец остановились у небольшого дома с садом. На стук Флорентийца не сразу открылась калитка, и дворник удивлённо оглядел нас. Флорентиец спросил его по-русски, дома ли хозяин. Оказалось, хозяин только что вернулся домой и даже ещё не ужинал, хотя сказал, что очень голоден.

Флорентиец попросил передать хозяину, что нас прислал лорд Бенедикт и мы просим принять нас, если можно, тотчас же. Монета, скользнувшая незаметно в руку дворника, сделала его намного любезнее. Он впустил нас в сад и побежал доложить о нас хозяину. Мы остались одни. Пока мы ожидали в темноте сада, Флорентиец осторожно просунул палец под мою ватную шапочку и ловко стащил её с меня; почти мгновенно оторвав её от дервишской шапки, он снова надел шапку мне на голову. То, что я почувствовал, когда освободился от ватного бинта на голове, не поддаётся описанию. Я хотел громко закричать от радости, но, опасаясь выдать себя, промолчал, два раза всё же подпрыгнув на месте.

— Какой там Лордиктов? Вечно всё перепутаешь! — донёсся до нас голос.

Я было подумал, что где-то уже слышал этот особенный голос, но не мог себе уяснить, где и когда.

— Помни же, ты всё ещё глух, пока не скажу, — шепнул Флорентиец.

Дворник вернулся и пригласил нас подняться на веранду. Мы пошли за ним и увидели, что на веранде горит свет. Но зелень — вся в крупных, висящих как гроздьях цветах — сплеталась в такой густой покров, что света из сада не было видно. Мы поднялись на веранду. Слуга, почти мальчик, хлопотал у стола, внося накрытые тарелками блюда, фрукты.

Флорентиец сложил наши вещи в углу, и мы сели на деревянный диванчик. Слуга несколько раз входил и выходил, каждый раз весьма недружелюбно, даже презрительно поглядывая на нас. Наконец он сказал Флорентийцу довольно небрежно, что хозяин ждёт нас в кабинете. Оставив рядом с вещами наши кожаные калоши, мы прошли в большую комнату, соединённую

коридором с террасой. В комнате стояли рояль, мягкая мебель, но пол был голым, в противоположность дому Али, где ноги, куда ни ступи, утопали в коврах.

Мы пересекли комнату и подошли к закрытой двери, из-под которой пробивался свет. Тут Флорентиец отстранил слугу, крепко взял меня за руку, как бы напоминая лишний раз, что я глухой, и постучал в дверь особым манером. Дверь быстро отворилась, и... хорошо, что Флорентиец держал меня крепко за руку, не то бы я обязательно забыл обо всём на свете и закричал. Перед нами стоял не кто иной, как тот незнакомец, который дал мне своё платье в кабинете Али. Флорентиец низко поклонился хозяину, потянул и меня вниз. Я понял, что должен кланяться ещё ниже, и выпрямился только тогда, когда та же рука-наставница подала мне знак. Флорентиец что-то быстро сказал хозяину, тот кивнул головой, придвинул нам низкие пуфы и приказал слуге что-то, чего я не понял. На физиономии того отразилось сначала огромное удивление, но под взглядом хозяина он почтительно поклонился и бесшумно исчез, закрыв дверь.

Тут только хозяин протянул нам руку, улыбнулся, и взгляд его стал менее строгим. Это прекрасное лицо носило отпечаток усталости и скорби.

— Разве вы не узнали моего голоса? — мягко улыбаясь и держа мою руку в своей, сказал наш хозяин. — А я специально для вас сказал громко несколько слов дворнику, чтобы вы не так удивились. Вы ведь очень музыкальны, это видно по вашему лбу и скулам.

Я хотел было сказать, что запомнил оригинальный тембр его голоса, но никак не ожидал услышать его в этом саду. Я начал говорить, ощущая страшную усталость, но вдруг всё поплыло перед моими глазами, вся комната завертелась, и я погрузился во тьму...

Долго ли продолжался мой обморок, не знаю. Но очнулся я от приятной свежести в голове и ощущения чего-то прохладного на сердце. Флорентиец подал мне питьё, и как только я сделал несколько глотков, заставил проглотить одну из пилюль, данных нам Али Мохаммедом. Очень скоро мне стало лучше, я снова овладел собой и твёрдо сидел на низком стуле. Хозяин быстро писал какое-то письмо. Флорентиец снял с моего сердца и с головы холодные компрессы и шепнул:

— Скоро пойдём отдыхать, мужайся.

Но теперь я готов был ехать дальше; откуда-то появились силы, точно я окупнулся в прохладный бассейн.

Окончив письмо, хозяин позвонил и приказал вошедшему слуге немедленно отнести его по адресу и дожидаться ответа. Должно быть, место, куда посылали слугу, ему не очень нравилось. Он хотел что-то возразить, но встретив пристальный строгий взгляд хозяина, низко поклонился и вышел.

Вслед за ним вышли и мы на веранду. Вымыли руки под умывальником. Светлей они, правда, от этого не стали, и я со вздохом подумал, как надоели мне грим, чужой костюм и все приключения, отдающие запахом сказок из «Тысячи и одной ночи».

Усевшись за стол, мы принялись за еду, состоявшую из овощей, фруктов, прохладительных морсов и нескольких сортов хлеба. Всё было вкусно, но есть мне не хотелось. Да и старшие мои друзья ели мало.

— Я написал письмо на языке слуги, потому что уверен, что письмо это он и сам прочтёт, и мулле отнесёт. Весть об Али и религиозном походе против него уже докатилась сюда. В письме к своему знакомому торговцу я пишу, что завтра к вечеру мой друг купец приедет к нему покупать ослов. Пусть составит он также гурт скота, который может быть куплен моим приятелем. Здешний мулла, прикрываясь именем этого торговца, ведёт крупную торговлю ослами и скотом. Весь день он, конечно, будет занят распоряжениями, куда и как перегнать скот и какую взять цену. Только вечером он займётся делами, связанными с походом на Али. Живёт этот торговец довольно далеко, и у нас есть не меньше трёх часов. Но за это время вам обоим надо переодеться, снова стать европейцами и отправиться назад в К. Там вы пересядете в международный вагон встречного поезда и, надо надеяться, благополучно доедете до Москвы. Не миновать вам опять маскарада, — обратился он ко мне. — Вам придётся стать слугой-гидом лорда Бенедикта, ни слова не знающего по-русски. Теперь ярмарка в К., и вы встретите в поезде иностранцев, направляющихся за каракулем, коврами и хлопком, который они покупают на корню. Присутствие лорда Бенедикта среди иностранцев будет естественно. Кроме того, по вашим следам уже гонятся; кто-то выдал, что вы одеты дервишем. Я верю, что ни на момент в вашем сердце не было и нет страха, но действовать надо не только бесстрашно, но и целесообразно. Пойдёмте в мою спальню. Я постараюсь помочь вам обоим одеться сообразно ролям и умыться.

Уже светало; мы встали из-за стола и прошли в спальню нашего хозяина. Это была чудесная белая комната. Там была очень простая, но изящная мебель, обитая светло-серым шёлком, пушистый светлый ковёр, но... рассматривать было некогда. Отодвинув раздвижную, как в вагоне, дверь, хозяин подошёл к ванне, влил в неё какой-то жидкости, отчего вода точно закипела. И когда вода успокоилась, сказал:

— Весь грим с вашего тела сойдёт. Вы выйдете из воды белым юношей. Здесь мыло, щётки и всё, что вам может понадобиться, — и с этими словами он меня покинул.

Я быстро разделся и погрузился в ванну, с необычайным наслаждением чувствуя, как с меня, точно кожа, слезает вся чернота и грязь пути. Я слы-

шал, как шумели струи текущей воды где-то рядом со мной; это, очевидно, полоскался под душем Флорентиец. Помывшись, я растёр тело купальной простыней и стал думать, во что же мне теперь одеться. Раздался лёгкий стук в дверь, и вошёл Флорентиец. Он тоже был укутан в купальную простыню, весело улыбался, и я снова поддался очарованию этой дивной красоты, обаянию этого любящего, доброго человека, к которому всё сильнее привязывался.

— Пойдём выбирать туалеты, — весело сказал он, и мы двинулись в спальню хозяина.

Я ещё не сказал, каким нашёл я теперь моего мнимого дервиша. Он был в лёгком сером костюме, прекрасно сидевшем на нём, в белой шёлковой рубашке апаш и белых полотняных туфлях. Я не мог его не узнать. Его глаза-звёзды имели какое-то особенное выражение мудрости и огня, ему одному свойственное, как и неповторимый тембр его голоса. Рот с точно вырезанной резцом ваятеля верхней губой говорил об огромном темпераменте. А лоб, высокий, благородный лоб мудреца был так сильно развит в выпуклой надбровной части, что казалось, вся мысль сосредоточивалась именно здесь, как это часто бывает у крупных композиторов.

Пока мы выбирали одежду, наш хозяин рассказывал о своём путешествии и о делах Али. Али поехал к себе, чтобы остаться там и защитить домочадцев или вывезти их куда-нибудь в случае нападения религиозных фанатиков. Но какова судьба Али сейчас, об этом он ничего ещё не знал. Он сказал нам, что со следующим поездом сам выедет в Петербург, чтобы приготовить нам квартиру и собрать сведения о моём брате. Сказал ещё, что один из мужчин, поехавших с Наль в роли слуги, её старый дядя, человек опытный, верный и очень образованный.

Говоря всё это, он помогал мне надевать костюм юноши-слуги. Это были коричневая куртка с серебряными пуговицами, такие же длинные брюки и кепи с серебряным галуном. Конечно, я не блистал красотою, но теперь, расставшись с обличьем черномазого, грязного дервиша, я казался себе просто красавцем. Флорентиец надел костюм из синей чесучи, белую шёлковую сорочку и завязал бантом серый шёлковый галстук. Положительно во всём он был хорош, казалось, лучше быть нельзя. Он беспощадно прилизал свои волнистые волосы, уложив их на пробор ото лба до самой шеи, надел пенсне, — и всё же оставался красавцем.

Время бежало; стало совсем светло. Мы услышали фырканье лошадей, и дворник закричал в окно, что лошади готовы. Хозяин подошёл к окну и сказал тихо дворнику:

— Сходи к соседу; если он уже ушёл в лавку, то беги к нему, туда, в ряды. Напомни, что он обещал доставить сегодня тётке два халата и ковёр.

Я же, по дороге на станцию, отвезу моих ночных гостей на скотный рынок. Если они вечером снова захотят ночевать у меня, ты ихпусти.

Дворник побежал выполнять поручение, а мы убрали с веранды наши вещи, которые оказались просто бутафорией. Мы бросили пустые сундучки, вынув из них по нескольку книг, а узлы, в которых оказались подушки, развязали и сунули платки в шкаф. Через минуту мы вышли. Я нёс лёгкое пальто моего барина, учась играть роль слуги, помог моему господину сесть на заднее сиденье, а сам сел на скамеечку впереди. Хозяин устроился на козлах, подобрал вожжи, мы выехали из ворот, — я соскочил их закрыть, — и покатали к вокзалу.

Город ещё не просыпался. Кое-где дежурные сарты хлопотали у арыков, так как вода в оросительных системах всё время должна менять направление движения, и за этим строго следят особо приставленные люди, пуская воду по очереди то в Хиву, то в Бухару, то в Самарканд.

Теперь мы ехали быстро, но всё же я мог хорошо различать и дома, и сады. Торговые ряды были совсем иные, чем в К. Они не напоминали багдадский рынок, а скорее были похожи на громадные амбары; но стиль их всё же был не европейский. Огромное количество лавок говорило о богатстве города. Я весь ушёл в свои наблюдения. Движение становилось всё оживлённее, и когда мы выехали за город, это зрелище захватило меня своей необычайной красочностью. Я раньше не видел больших верблюжьих караванов; а здесь, сразу с нескольких сторон, двигались к городу караваны верблюдов, медленно и мерно покачивавших груз на своих горбах. Каждый караван возглавлял маленький ослик, на котором часто сидел погонщик. Все ведущие к шоссе дороги были забиты осликами, нагруженными фруктами, овощами, птицей и всевозможными предметами обихода, — и всё это тянулось на базар в огромном облаке пыли, тесно прижатое друг к другу.

Вдали сверкали снежные горы. Небо было местами алое, местами фиолетовое и зелёное, и ярко-синее над нами; веял прохладный ветерок от быстрой езды, — и я снова воскликнул:

— О, как прекрасна жизнь!

Восклициание это явилось полной неожиданностью для моих спутников, углублённых в разговор, и оба они удивлённо на меня посмотрели. Но увидев мою восхищённую физиономию, громко рассмеялись. Я тоже залился смехом.

Мы были уже недалеко от вокзала, и мой барин, лорд Бенедикт, сказал мне по-английски:

— Хороший слуга всегда серьёзен. Он никогда не вмешивается в разговор барина, ничем не выдаёт своего присутствия и только отвечает на

задаваемые ему вопросы. Он вроде как глух и нем, пока барину не понадобится его речь и услуги.

Тон его был совершенно серьёзен, но глаза смеялись. Я сдержал смех, поднёс руку к козырьку и ответил весьма серьёзно, тоже по-английски:

— Есть, ваша светлость!

— Мы подъезжаем к станции, — продолжал лорд. — Вот вам бумажник. Вы прежде нас сойдёте и отправитесь в кассу. Возьмёте два билета в международном вагоне. Мы же медленно выйдем прямо на перрон и там встретимся. Поезд подойдёт очень скоро. Если не будет мест в международном, возьмите в первом классе.

Я взял бумажник, выпрыгнул из коляски, как только она остановилась, и побежал в кассу. Купив билеты, я нашёл своего барина на перроне и доложил, что билеты в международный приобрёл. Он важно кивнул мне на носильщика, державшего два элегантных чемодана. Я не мог понять, каким образом чемоданы оказались при нас, и только потом сообразил, что, вероятно, они уже были привязаны к коляске, когда мы в неё селись.

«Вот новая забота мне», — подумал я. Я не знал, как поступить с бумажником и билетами, но так как показался поезд, я сунул бумажник во внутренний карман куртки.

— В международный, — бросил я небрежно носильщику, и он пошёл к самому концу платформы.

Как только поезд остановился, я подал проводнику билеты, и мы заняли наши места, оказавшиеся маленьким двухместным купе. Я разместил вещи и отпустил носильщика. Проводник быстро подмёл и без того чистый пол и вытер пыль в нашем купе, должно быть судя по слухе о возможной щедрости барина. Я выскочил на платформу доложить, что всё готово.

Раздался второй звонок. Лорд Бенедикт и его спутник медленно пошли к вагону, и с третьим звонком милейший лорд лениво занёс ногу на ступеньку. Мне так и хотелось его подтолкнуть сзади, никак я не мог взять в толк его медлительность. Наконец он вошёл в вагон и что-то ещё сказал своему остающемуся другу. Тут раздался свисток паровоза, и я уже не стал ждать, пока мой барин соизволит пройти дальше, поклонился нашему любезному хозяину и юркнул в вагон трогавшегося поезда.

Только когда наш хозяин совсем исчез из виду, лорд повернулся и прошёл в купе. Проводник обратился к нему с вопросом, он сделал непонимающее лицо и поглядел на меня.

— Мой барин — англичанин, — сказал я очень вежливо проводнику, — и ни слова не понимает ни на одном языке, кроме своего английского. А я его переводчик.

Проводник ещё раз спросил, нужен ли нам чай. Я перевёл вопрос лорду, и проводник получил заказ на чай, бисквиты и две плитки шоколада. Кроме того, я дал ему крупную бумажку и попросил сходить в вагон-ресторан и купить нам лучшую дыню, яблок и груш. Уверившись, очевидно, в том, что от лорда можно ожидать чаевых, проводник обещал купить фрукты на следующей станции, которая славится ими.

Через несколько минут он подал нам чай с лимоном, бисквиты и шоколад, закрыл дверь, и мы остались одни. Несмотря на спущенные тёмные занавески на окнах и работавший у потолка вентилятор, жара и духота в вагоне стояли адские. Я снял кепи и благословил свою прохладную курточку. Материя была плотная, но оказалась лёгкой вроде китайского шёлка. Мой лорд снял пиджак, улёгся на диван, причём ноги его свешивались вниз, и сказал:

— Друг, я очень устал. Если ты чувствуешь себя в силах, — покарауль мой сон часа два-три. Если к тому времени не проснусь, разбуди меня обязательно. Теперь не удастся поспать, — потом, пожалуй, и не получится. А сил нам с тобой потребуется ещё много. Не огорчайся, что мы с тобой обо всём не переговорили. Как только я встану, мы перекусим и ляжешь спать ты. Раскрой маленький чемоданчик, в нём ты найдёшь кое-что, что забыл в доме Али и что тебе, заботливо осмотрев твоё платье, посылает молодой Али. Эти чемоданы привёз нам друг, у которого мы только что были.

С этими словами он повернулся к стене и сразу заснул. Я вышел посидеть с книгой в коридоре на скамейке напротив нашего купе, чтобы проводник не постучал в дверь и не нарушил сон Флорентийца.

Внезапно в коридоре появилось несколько фигур мужчин с довольно помятыми лицами, отчаянно ругавших жару. Все они приготовились выйти на платформу следующей станции покупать фрукты. Кое-кто взглянул на меня, но я уставился в книгу, которую Флорентиец положил на столик в нашем купе.

Это был английский роман из эпохи Средних веков, начало мне показалось скучноватым; но эпоху эту я знал хорошо и решил, что прочесть о ней в английском понимании, пожалуй, будет интересно.

Пассажиры надели кто кепи, кто панаму, кто английский шлем «здравствуй-прощай», как окрестили в России этот головной убор с двумя козырьками, а кто и просто с непокрытой головой вышел на площадку вагона. Поезд подошёл к перрону и остановился.

Я открыл окно и стал смотреть на толпу... Здесь было гораздо оживлённее, чем на виденных мною прежде станциях. Торговцы с большими корзинами фруктов сновали по перрону. Мелькали укутанные фигуры женщин, державшихся группками, но я никак не мог понять, зачем они здесь. Они не торговали, а как будто без толку переходили с места на место, ни сло-

вом не обмолвясь друг с другом. Важные сарты разных возрастов, стоявшие кучками, пялили глаза на едущую публику. Евреи в своеобразных кафтанах и чёрных шапочках, — шумные, нетерпеливые, составляли резкий контраст со степенными восточными фигурами.

Пассажиры вскоре возвратились в вагон с купленными на перроне фруктами. Мне казалось, что их покупки очень удачны. Но когда поезд тронулся, ко мне подошёл проводник и подал корзину фруктов. Он весело подмигнул в сторону жевавших яблоки пассажиров, а я, взглянув в свою корзину, понял, что такое настоящие восточные фрукты. Там лежали яблоки громадные, какие-то плоские, и другого сорта — прозрачные, продолговатые, в которых просвечивали насквозь все косточки; ещё были жёлтые, как янтарь, груши, две небольшие дыни, от которых исходил головокружительный аромат, и чудные белые и синие сливы.

— Вот это настоящие фрукты! — сказал мне проводник. — Надо знать, у кого купить и кому продать. У меня тут есть приятель. Каждый раз, когда я проезжаю, он мне prepares две такие корзины.

Я восхитился его приятелем, выращивающим такие фрукты, поблагодарил проводника за труды, щедро заплатив ему от имени барина, и угостил его одним яблоком. Он остался очень доволен всеми формами моей благодарности, облокотился о стенку и принялся есть своё яблоко. А я уплетал сочную, божественную грушу, боясь пролить хоть каплю её обильного сока. Проводник пригласил меня в своё купе, но я сказал, что барин мой очень строг, что, по незнанию языков, он без меня не может обходиться ни минуты и что теперь я передам ему фрукты и мы с ним ляжем спать. На его вопрос о завтраке и обеде я ответил, что барин мой очень важный лорд и что лорды иначе чем по карточке отдельных заказов не обедают.

Я простился с проводником, ещё раз его поблагодарил и вошёл в своё купе. Я старался двигаться как можно тише, но вскоре обнаружил, что Флорентиец спит совершенно мёртвым сном; и если бы я даже приложил все старания к тому, чтобы его сейчас разбудить, то вряд ли преуспел бы в этом нелёгком деле.

Все мускулы тела его были совершенно расслаблены, как это бывает у отдыхающих животных, а дыхание было так тихо, что я его вовсе не слышал.

«Ну и ну, — подумал я. — Эта дурацкая ватная шапка да дервишский колпак, кажется, повредили мне слух. Я всегда так тонко слышал, а сейчас даже не улавливаю дыхания спящего человека!»

Я протёр уши носовым платком, наклонился к самому лицу Флорентийца и всё равно ничего не услышал. Огорчённый таким явным ухудшением слуха, я вздохнул и полез за маленьким чемоданом.

ГЛАВА 6

МЫ НЕ ДОЕЗЖАЕМ ДО К.

В вагоне было так темно, что я сделал маленькую щёлку, чуть приподняв шторку на окне, уселся возле столика и попробовал открыть чемоданчик. Ключа нигде не было видно, но, повертев во все стороны замки, я всё же его открыл, хотя и не без некоторого количества проклятий. Сверху лежали аккуратно завёрнутые коробочки с винными ягодами, сушёными прессованными абрикосами и финиками. Я вынул их и под несколькими листами белой бумаги нашёл письмо на моё имя; почерк письма был мне незнаком.

Я уже не боялся шелестеть бумагой, так как Флорентиец продолжал спать своим богатырским сном. Я разорвал конверт и прежде всего взглянул на подпись. Внизу было чётко написано: «Али Махмуд».

Письмо было недлинное, начиналось обычным восточным приветствием: «Брат». Али-молодой писал, что посылает забытые мною в студенческой куртке вещи, а также бельё и костюм, которые мне, вероятно, пригодятся и которые я найду в большом чемодане. Прося меня принять от души посылаемое в подарок, он прибавлял, что в чемодане я найду все необходимые письменные принадлежности и немного денег, лично ему принадлежащих, которыми он братски делится со мной. В другом же отделении сложены только женские вещи, деньги и письмо, которые он просит передать Наль при первом же моём свидании с нею, когда и где бы это свидание ни состоялось.

Далее он писал, что Али Мохаммед посылает мне тоже посылочку, которую я найду среди носовых платков. Али-молодой очень просил меня не смущаться финансовым вопросом, говоря, что вскоре увидимся и, возможно, обменяемся ролями. Я был очень тронут такой заботой и ласковым

тоном письма. Подперев голову рукой, я стал думать об Али, его жизни и той трещине, которая образовалась сейчас в его сердце, полном любви к сестре. Фиолетово-синие глаза Али-молодого, его стройная фигура, такая худая и тонкая, что можно было принять её за девичью, лёгкая и плавная походка, — всё представилось мне необыкновенно ясно и было полно очарования. Я не сомневался, что он хорошо образован. А подле такой огненной фигуры, как Али-старший, мудрость которого светилась в каждом взгляде и слове, вряд ли мог жить и пользоваться его полным доверием неумный и неблагородный человек.

Я подумал, что всю жизнь мальчик Али прожил в атмосфере борьбы и труда за дело освобождения своего народа. И, вероятно, в его представлении жизнь человека и была не чем иным, как трудом и борьбой, которые стояли на первом плане, а жизнь личная была жизнью номер два. Я не мог угадать, сколько же ему лет, но знал, что он гораздо старше Наль. На вид он был так юн, что нельзя было ему дать больше 17 лет.

Я снова перечёл его письмо; но и на этот раз не понял, какие вещи мог отыскать Али в моём платье. Я заглянул снова в чемодан, хотел было поискать, где лежат носовые платки, но, приподняв случайно какое-то полотенце, вскрикнул от изумления: в полутьме вагона сверкнуло что-то, и я узнал дивного павлина на записной книжке брата.

Только теперь я вспомнил, как мы перебирали все вещи на туалетном столе брата и я сунул эту вещь в карман. Я вынул книжку и стал рассматривать ювелирную чудо-работу. Чем дольше я смотрел на неё, тем больше поражался тонкому вкусу мастера. Распушенный хвост павлина благодаря игре камней казался живым, точно шевелился; голова, шея и туловище из белой эмали поражали пропорциональностью и гармонией форм. Птица жила!

«Как надо любить своё дело! И к тому же знать анатомию птицы, чтобы изобразить её такою», — подумал я. И какая-то горькая мысль, что мне уже двадцать лет, а я ещё ничего — ни в одной области — не знаю настолько, чтобы создать что-нибудь стоящее для украшения или облегчения жизни людей, пронеслась в моей голове. Я всё держал книжку перед собой, и мне захотелось узнать её историю. Была ли она куплена братом? Но я тотчас же отверг эту мысль, так как брат не мог бы купить себе столь ценную вещь. Был ли это подарок? Тогда кто преподнёс его брату?

Уносясь мыслями в жизнь брата, — такой короткий и сокровенный кусочек которой я вдруг узнал, — я связал фигуру павлина с тем украшением на чалме Али Мохаммеда, которое было на ней во время пира. То был тоже павлин, совершенно белый, из одних крупных бриллиантов. «Вероятно, павлин является эмблемой чего-либо», — соображал я. Жгучее любопытство разбирало меня. Я уже был готов открыть книжку, чтобы прочесть,

что писал брат; но мысль о порядочности, в которой он меня воспитывал, остановила меня. Я поцеловал книжку и осторожно положил её на место.

«Нет, — думал я, — если у тебя, брата-отца, есть тайны от меня, — я их не прочту, пока ты жив. Лишь если жизнь навсегда разлучит нас и мне так и не суждено будет передать тебе в руки твоё сокровище, — я его вскрою. Пока же есть надежда тебя увидеть, — я буду верным стражем твоему павлину».

Жара становилась невыносимой. Я съел ещё одну сочную грушу и решил отыскать посылочку Али Мохаммеда. Вскоре я нашёл стопку великолепных носовых платков, и между ними лежал конверт, в котором прощупывалось что-то твёрдое, квадратное. Я вскрыл конверт и чуть не вскрикнул от восхищения и изумления. Внутри находилась коробочка с изображением белого павлина с распушенным хвостом. Фигурка птицы была сделана не из драгоценных камней, а из гладкой эмали и золота с точным подражанием расцветке хвоста живого павлина. Коробочка была чёрная, и края её были унизаны мелкими ровными жемчужинами. Я её открыл; внутри она была золотая, и в ней лежало много мелких белых шариков вроде мятных драже. Я закрыл коробочку и стал читать письмо. Оно поразило меня своей лаконичностью, силой выражения и необыкновенным спокойствием. Я его храню и поныне, хотя Али Мохаммеда не видел уже лет двадцать, с тех пор как он уехал на свою родину.

«Мой сын, — начиналось письмо, — ты выбрал свой путь добровольно. И этот путь — твои любовь и верность тому, кого ты сам признал братом-отцом. Не поддавайся сомнениям и колебаниям. Не разбивай своего дела отрицанием или унынием. Бодро, легко, весело будь готов к любому испытанию и неси радость всему окружающему. Ты пошёл по дороге труда и борьбы, — утверждай же, всегда утверждай, а не отрицай. Никогда не думай: «не достигну», но думай: «дойду». Не говори себе: «не могу», но улыбнись детскости этого слова и скажи: «превозмогу». Я посылаю тебе конфеты. Они обладают бодрящим свойством. И когда тебе будет необходимо собрать все свои силы или тебя будет одолевать сон, особенно в душных помещениях или при качке, — проглоти одну из этих конфет. Не злоупотребляй ими. Но если кто-либо из друзей, а особенно твой теперешний спутник, попросит тебя покараулить его сон, а тебя будет одолевать изнеможение, вспомни о моих конфетах. Будь всегда бдительно внимателен. Люби людей и не осуждай их. Но помни также, что враг злобен, не дремлет и всюду захочет воспользоваться твоей растерянностью и невнимательностью. Ты выбрал тот путь, где героика чувств и мыслей живёт не в мечтах и идеалах или фантазиях, а в делах простого и серого дня. Жму твою руку. Прими моё пожатие бодрости и энергии... Если когда-либо ты потеряешь мир в сердце, — вспомни

обо мне. И пусть этот белый павлин будет тебе эмблемой мира и труда для пользы и счастья людей».

Письмо было подписано одной буквой «М». Я понял, что это значило «Мохаммед». С того момента, как я оказался в вагоне, прошло, вероятно, уже часа два, если не больше. Жара, казалось мне, достигла своего апогея. Я снял курточку, расстегнул ворот рубашки и всё же чувствовал, что не могу удержать слипающихся век и вот-вот упаду в обморок. Я посмотрел на Флорентийца. Он всё так же мёртво спал. Мне ничего не оставалось, как попробовать действие конфет Али Мохаммеда. Я открыл коробочку, вынул одну из конфет и начал её сосать. Сначала я ничего особенного не ощутил; меня всё так же клонило ко сну. Но через некоторое время я почувствовал как бы лёгкий холодок; точно по всем нервам прошёл какой-то трепет, желание спать улетучилось, я стал бодр и свеж, точно после душа.

Я принялся рассматривать содержимое той части чемодана, где были вещи для меня. Я нашёл туго набитый деньгами бумажник; там же оказались очаровательные принадлежности для умывания и для письма. Полюбовавшись всем этим, я привёл всё в порядок и закрыл чемодан, не прикоснувшись к тому отделению, где были вещи, предназначенные для Наль.

Только я хотел приняться за чтение книги, как в дверь купе слегка постучали. Я приоткрыл её и увидел в коридоре высокого господина, по виду коммерсанта. Он спросил меня по-французски, не желает ли кто-либо в нашем купе развлечься от скуки партией в винт. Я отвечал, что я слуга-переводчик, в винт играть не умею, а барин мой — англичанин, ни слова не понимает ни по-русски, ни по-французски. И добавил, что я ни разу не видел в его руках карт. Посетитель извинился за беспокойство и исчез.

Быть может, всё происходило самым обычным и естественным образом. И вагонный спутник был одним из тех многочисленных картёжников, которые способны и день и ночь просиживать за карточным столом. Но моей расстроенной за последние дни калейдоскопом сменяющихся событий фантазии уже мерещился соглядатай; и я невольно задавал себе вопрос: не такой же ли он коммерсант, как я слуга?

«Положительно, — думал я, — не хватает только очутиться нам на необитаемом острове и найти покровителя вроде капитана Немо. Живу, точно в сказке».

Я был бы очень рад, если бы Флорентиец бодрствовал. Мне становилось несносным это долгое вынужденное молчание под единственный аккомпанемент скрипящих на все лады стенок вагона и мерного стука колёс. Я ещё раз прочёл письмо Али-старшего. Я представил себе его огненные глаза и высокую фигуру. Мысленно поблагодарил его не только за живительные кон-

феты, но и за не менее живительные слова письма. Я погладил рукой своего очаровательного павлина на коробочке и положил её, как лучшего друга, во внутренний карман курточки, накинув её себе на плечи.

Я уже не ощущал давления в висках, пульс мой был ровен; я взял книгу и решил почитать. Приподняв повыше шторку на окне, я посмотрел на местность, по которой мы сейчас ехали. Это снова была пустынная степь; очевидно, здесь не было никакого орошения. Жгучее солнце и сожжённая голая земля — вот и весь ландшафт, насколько хватало глаз.

«Да, — это край, забытый милосердием жизни, — подумал я. — Должно быть, люди здесь любят строить голубые купола мечетей и пёстро изукрашивать их стены, предпочитают яркие краски в одеждах и коврах, чтобы вознаградить себя за эту голую землю, за эту жёлтую пыль, по которой верблюды бредут, утопая в ней по колено».

Поезд шёл не особенно быстро, остановки были редки. Я начал читать свою книгу. Постепенно сюжет романа меня захватил, я увлёкся, забыл обо всём и читал, вероятно, не менее двух часов, так как почувствовал, что у меня затекли руки и ноги. Тогда я встал и начал их растирать. Вскоре тело Флорентийца как-то странно вздрогнуло, он потянулся, глубоко вздохнул и сразу — как резиновый — сел.

— Ну, вот я и выспался, — сказал он. — Очень тебе благодарен, что ты меня караулил. Я вижу, что ты сторож надёжный, — улыбнулся он, сверкая белыми зубами и вспыхивающими юмором глазами. — Но почему ты меня не разбудил раньше? Я спал, должно быть, больше четырёх часов, — продолжал он, всё улыбаясь.

Я же стоял, выпучив глаза, и не мог сказать ни слова, до того он меня поразил своим пробуждением.

— В жизни не видал таких чудных людей, как вы, — сказал я ему. — Спите вы, как мёртвый, а просыпаетесь, словно кошка, почувывая во сне мышшь. Разбудить вас? Да ведь я же не гигант, чтобы поставить вас на ноги, как это вы проделали со мной; если бы я даже тряс вас так, чтобы душу из себя вытрясти, то всё равно вряд ли добудился бы.

Флорентиец расхохотался, его смешили и моя физиономия, и моя досада.

— Ну, давай мириться, — сказал он. — Если я тебя обидел, что сплю на свой манер, а не так, как полагается по хорошему тону, то, пожалуй, и ты подобрал мне сравнение не очень лестное, что не подобает доброму слуге важного барина. Уж сказал бы хоть «тигр», а то не угодно ли — «кошка».

С этими словами он встал, посмотрел на фрукты и сказал:

— Ну и молодец же ты! Вот так фрукты! Можно подумать, ты их стащил в Калифорнии!

— Ну, в Калифорнию я сбежать не успел; а проводнику щедро за них заплатил, — ответил я. — Во время вашего сна приходил сосед — вроде французского коммивояжёра — и приглашал вас поиграть в винт.

Флорентиец ел дыню, кивая на мой доклад головой, и вдруг увидел письма обоих Али, которые я оставил на столе. Я прочёл ему оба. Он спросил, куда я спрятал коробочку, и когда я показал на внутренний карман куртки, произнёс:

— Нет, не годится. В твоих брюках с внутренней стороны, справа, есть глубокий потайной кожаный карман. Положи её туда.

Я нащупал справа, у самой талии, карман и переложил туда коробочку. Флорентиец наклонился к окошку, оглядел местность и сказал:

— Скоро подъедем к большой станции. Видишь, там вдали деревья, — это уже станция. Тебе надо будет выйти на перрон, размять ноги и купить газет. Возьми все, какие увидишь, газеты, на местном языке тоже.

Я накинул курточку, спрятал письма в книгу и приготовился идти.

— Подожди, письма ты хочешь сохранить? — спросил Флорентиец.

— Непременно, — ответил я.

— Тогда убери их в чемодан. И не только теперь, когда мы можем быть выслежены, — но вообще никогда и нигде не оставляй писем не спрятанными надёжно. А самое лучшее, держи всё в голове и сердце, а не на бумаге.

Я спрятал письма и вышел, так как поезд уже замедлил ход и подходил к перрону.

— Спроси на всякий случай, нет ли телеграммы до востребования лорду Бенедикту, — сказал мне вдогонку Флорентиец.

Я поднёс руку к козырьку фуражки и вышел, торопясь, как усердный слуга, выполнить приказание барина. Встретясь с проводником, я спросил его, где купить газеты и журналы, в какой стороне перрона телеграф и долго ли здесь стоит поезд. Проводник всё мне подробно рассказал и пожалел, что не может пойти со мной, так как это большая станция, здесь всегда многие сходят и садятся новые пассажиры, а потому ему нельзя отлучиться. Но поезд стоит минут двадцать, можно не торопиться.

Я спрыгнул на перрон, как только остановился поезд. Народу было много. Гортанные голоса пёстрой, сожжённой солнцем, темной толпы, рассаживающейся по вагонам, в суете и давке перемешивались со смехом и шутками бежавших за водой пассажиров с бутылками, чайниками и кувшинами в руках.

Жара и здесь стояла палящая, но после душного вагона воздух показался мне райским. Я сходил на телеграф, получил две телеграммы для моего барина, накупил целую кучу газет, какие только были, и вернулся в вагон. Войдя в него, я встретился с новыми пассажирами. Один был одетым по-

восточному, довольно красивым мужчиной с мягким выражением лица, другой — в белом кителе и форменной фуражке инженера-путейца, с лицом каким-то безразличным, маленького роста и, видимо, очень страдавший от жары.

Я вошёл в своё купе, подал Флорентийцу телеграммы и газеты. Он прочёл телеграммы и протянул их мне. Я сначала ничего не понял, а потом разобрал, что русскими буквами были составлены английские слова. В одной говорилось, что на станции П. нас будут ждать лошади. А другая сообщала, что два дома и два магазина в К. загорелись от неизвестных причин, спасти удалось только людей и животных. Я взглянул на Флорентийца, который читал местную газету, полученную утром из К. В ней писалось о пожаре в доме Али, о том, что огонь перебросился через дорогу на дом капитана Т. Дом сгорел дотла, спасся один только денщик. А сам капитан, его брат и их друг, хромой старик-купец, не смогли проскочить через стену пламени, так как старый сухой дом загорелся сразу со всех сторон, как картонный. А запас керосина, хранившийся в доме, только раздул огонь.

Флорентиец перевёл мне эту заметку и сказал, что, судя по телеграммам, для нас пока всё складывается благополучно. У него с Али было условлено, что, если нас выселят в этом поезде, Али вышлет со своего хутора лошадей на станцию П. Мы сойдём и вернёмся на предшествующую станцию, где и сядем в московский поезд. Телеграмма о лошадях есть, до П. уже недалеко. Сердце моё было беспокойно. Мне думалось, что ведь брат действительно мог вернуться и очутиться в опасности. Я поделился своими мыслями с Флорентийцем. Лицо моего друга было очень серьёзно.

— Что твой брат в опасности, — об этом ты знаешь. Пока все они не сядут на пароход и не достигнут Лондона, — им грозит беда. Но что его нет в К. — это так же верно, как и то, что тебя там не было во время пожара. Не будем думать о призраках и фантазиях, растрачивая попусту энергию, а соберём её, чтобы в полном самообладании выполнить свою долю помощи нашим беглецам. Теперь тебе предстоит организовать наш обед. Дай проводнику ещё «на чай», попроси свести тебя с поваром вагона-ресторана и закажи для своего барина-чудака вегетарианский обед. Но только чтобы подали его прямо сюда и не позднее чем через час. Скоро ты почувствуешь усталость; надо тебе поесть и выспаться. Нам предстоит в короткое время сделать 30 вёрст на лошадях. Лошади будут хороши, коляска, думаю, тоже; но твоё здоровье хрупко.

— Я невысокий и худой, но здоровье моё крепко. Я хорошо закалён и выдрессирован братом с детства. Не раз сопровождал его в военные лагеря, один раз даже ходил в поход и могу шутя проехать верхом и 40 вёрст, — ответил я. — Я упал в обморок и часто чувствую изнеможение только из-за

непривычной жары. Но конфеты Али спасут меня. Обо мне вы не думайте. Скорее надо бояться вашего непробудного сна; ведь если вы эдак заснёте в коляске, как спали только что, то действительно можно сгореть в пожаре раньше, чем вас добудисься.

Флорентиец снова весело расхохотался.

— Эк напугал я тебя своим богатырским сном! Придётся одолжить у тебя конфету Али и больше так не спать, — весело прибавил он.

— У вас есть свои пилюли. Вам Али дал коробочку, из которой потчевал меня в своём кабинете, — тоже смеясь, ответил я.

— Есть-то есть, да только ты и вторую из этой коробочки уже съел в доме моего друга ночью, значит, всё же одну ты мне должен.

Посмеявшись над моей пилюльной скупостью, он сказал, что давно читает вопросы в моих глазах и мыслях о дервише и Али, но что расскажет обо всём в Москве.

Я пошёл хлопотать об обеде. Звонкая монета помогла организовать всё легко и просто. Через час в нашем купе стоял складной столик, и лакей из вагона-ресторана принёс отличные вегетарианские блюда. Мой барин велел передать повару денежную и сердечную благодарность и просьбу угостить нашего проводника. Наконец всё было убрано, и я отправился с последним поручением барина к проводнику. Я сообщил ему, что телеграмма известила лорда о возможности хорошей торговой операции на станции П. Пусть он нас разбудит заранее и поможет вынести вещи на платформу. Он был очень рад услужить нам за хороший обед и всё повторял, что такие прекрасные пассажиры редко попадаются.

Войдя в купе, я увидел, что Флорентиец приготовил мне постель, вынув мягкую подушку из большого чемодана. Я был растроган его заботой, вспомнил, как сам он спал на твёрдом валике, и с укоризной сказал ему:

— Ну, зачем вы беспокоитесь? Я же мог так же спать, как и вы. Да и вряд ли засну. Нервы взбудоражены, всюду мерещатся западни.

— Ничего, я дам тебе капель, возбуждение уляжется, и заснёшь сном не хуже моего.

Говоря так, он достал из своего широкого пояса-жилета маленький флакон и накапал мне в воду несколько капель.

— А, гомеопатия, — сказал я. — Не очень-то я в неё верю, — но всё же проглотил и улёгся. Последнее, что я слышал, был смех Флорентийца; я точно провалился в пропасть и сразу крепко заснул.

Проснулся я, как мне показалось, от стука в дверь. На самом же деле это будил меня Флорентиец. На сей раз я проснулся легко, чувствуя, как дивно я отдохнул. Не успел я встать, как раздался стук в дверь. Выглянув в коридор, я увидел проводника, который сказал, что через 20 минут будет

станция П., я должен собрать вещи, и он вынесет их на площадку, так как поезд стоит здесь только 8 минут. Мне не пришлось собирать вещи, всё было уже сделано Флорентийцем. Он успел и подушку и простыню убрать, пока я одевался и разговаривал с проводником. Сам он был теперь в другом костюме и велел мне надеть поверх моей курточки лёгкий светлый костюм, а кепи поменять на панаму. Поверх всего он накинул и на меня, и на себя чёрные плащи, вроде тех, которые носят морские офицеры.

Мы с проводником вынесли вещи на перрон. Кто-то из пассажиров окликнул его из вагона, он наскоро пожал мне руку и убежал. На этот раз вся медлительность Флорентийца исчезла. Он быстро взял большой чемодан и свой саквояж, маленький чемодан отдал мне, взял меня за руку и зашагал не в зал, а в сторону водонапорной башни, огибая садик станции. Едва мы успели зайти за башню, как с противоположной стороны выскочили два дровища, вглядываясь во тьму ночи. К ним, запыхавшись, подбежал с перрона сарт, быстро что-то сказал и ткнул в руки билеты. Все трое помчались со всех ног к поезду и едва успели вскочить в последний вагон.

Мы молча стояли за выступом башни. Флорентиец крепко держал меня за руку. Мы ждали до тех пор, пока поезд не отошёл и всё не стихло вокруг. Тогда он сказал мне:

— Нам надо очень быстро пройти с полверсты. Возьми мой саквояж, дай мне свой чемодан и крепко держись за мою руку.

Я хотел возразить, но он шепнул:

— Ни слова, скорее, всё после; мы в большой опасности, мужайся. Если успеем сесть в московский поезд, следы наши затеряются.

Мы шли в глубь местности, вправо от станции. Тьма была полная. Шли мы не по дороге, а по узкой тропе и так быстро, что я почти бежал, а Флорентиец шагал своими длинными ногами, не замечая ни тяжести багажа, ни моего бега. Шли мы минут двадцать, внезапно нас кто-то окликнул. Флорентиец ответил, и я увидел в темноте силуэт лошадей и экипажа. Кучер взял большой чемодан, Флорентиец втолкнул меня внутрь, впрыгнул сам почти на ходу, — и мы понеслись. Много я ездил с тех пор. Ездил и на пожарных лошадях, и на рысаках, но этого безумного бега, этой тёмной ночи я не забыл и, очевидно, никогда не забуду. Панаму мне немедленно пришлось снять; в ушах свистел ветер; лошади неслись вскачь. Соображать я ничего не мог. Я помнил только слова Флорентийца, его «мужайся» подобно гвоздю вошло в меня. Мы мчались так почти час; лошади тяжело дышали и пошли медленнее. Мелькнул ряд домов, деревья, — и мы внезапно остановились. «Катастрофа», — подумал я.

Флорентиец выпрыгнул, схватил чемоданы, как ребёнка высадил меня вместе с саквояжем и сказал по-английски:

— Скорей бери мою руку.

Мы перебежали через какой-то двор и увидели бричку, в которую мигом взгромоздились. Кучер гикнул, и мы снова помчались.

Флорентиец о чём-то спросил кучера, одетого по-восточному, тот успокоительно что-то объяснял. Я подосадовал на своё незнание языка.

«Вот, и не глух и не нем, а выходит, что и глух и нем», — думал я; и тут же дал себе слово выучиться этому проклятому языку.

— Ничего, — сказал Флорентиец, ласково пожимая мне руку и точно читая мои мысли. — Беда невелика, ты можешь выучить ещё хоть 100 языков. Мы скоро приедем; возница сказал, что в следующем кишлаке нас уже ждут билеты и что мы приедем минут за пять до поезда.

Лошади всё так же быстро мчались. В этой лёгкой бричке мне бы не усидеть, если бы Флорентиец не держал меня своей крепкой рукой за талию.

Вскоре стали мелькать дома, у одного из них лошади замедлили бег, и вдруг на подножку брички с моей стороны кто-то впрыгнул. От неожиданности я отпрянул, но, увидев смеющуюся во весь рот физиономию, понял, что это друг. Незнакомец ловко уселся на ободок брички, подал Флорентийцу конверт и весело затрещал что-то, очень его, видимо, смешившее. Вскоре он на ходу спрыгнул и пропал во тьме.

— Билеты есть. Станция уже видна, — сказал Флорентиец. — Мы мчались меньше двух часов. Вот и огоньки станции. Запомни, ты теперь мой двоюродный брат, а не слуга. Но язык русский я знаю плохо, так как вырос и воспитывался в Лондоне. И ты мой гид и помощник в делах, без которого я обходиться не могу. Между собой мы говорим только по-английски.

Мы подкатили к станции, сердечно поблагодарили возницу, и не успели выйти на перрон, как раздался свисток поезда. Билеты были первого класса. Вагон был или пуст, или в нём все спали. В просторном четырёхместном купе не было никого. Проводник тоже спал, предоставив нам самим устроиваться на своих местах. Мне показалось, что он был не совсем трезвым и просто решил скрыть от нас своё состояние.

На моё замечание о странном поведении проводника, даже не спросившего у нас билетов, Флорентиец сказал, что нет худа без добра, потому что наши билеты начинаются со следующей станции. Будь он трезв, пришлось бы входить с ним в сделку. А теперь он не сможет даже вспомнить, на какой станции мы сели в поезд. Разместив свои вещи, мы заперли купе и вытянулись на мягких диванах, обитых красным бархатом. Флорентиец сказал, что спать не будет, что ему надо прочесть письмо и кое-что сообразить. Я думал, что мой сон тоже далёк, хотел услышать разъяснение всех передрыг этой ночи, но не успел задать вопроса, как заснул глубоким сном.

Конец ночи прошёл для меня без сюрпризов. Утром я проснулся совершенно бодрым, и первое, что я увидел, было ласково улыбавшееся мне лицо моего друга. Я почувствовал себя таким счастливым, что вижу его не строгим и озабоченным, а добрым и любящим! Снова мне показалось, что я знаю его давным-давно.

— Положительно, — воскликнул я, — я мог бы поспорить, что давным-давно вас знаю. Такую любовь, доверие и уверенность я испытываю рядом с вами. Я хотел бы всегда, всю жизнь следовать за вами и разделять все ваши труды и опасности. Я не могу теперь даже представить себе жизни без вас!

Он рассмеялся, поблагодарил меня за любовь и дружбу и сказал, что его жизнь состоит не из одних только трудов, борьбы и опасностей, но и из больших радостей и знаний, которые он будет счастлив разделить со мной, если я в самом деле захочу пожить возле него.

Было уже часов восемь. Солнце стояло высоко, всё такое же яркое. Но мы ехали уже не по голой степи. Здесь почва была покрыта травой, хотя и сожжённой солнцем. Селения встречались чаще; и у каждой речушки или озера торчали юрты кочующих киргизов или калмыков.

— Здесь ещё есть жизнь, — заметил Флорентиец. — Но ночью мы въедем в полосу пустыни и так и будем ехать по ней больше суток. Жизнь заброшенных туда людей — а это почти только одни семьи железнодорожного персонала — полна бедствий. Кочующие пески не дают возможности развести ни огородов, ни садов. Колодцы возле станций есть, но вода в них солёная и не годится не только для питья, но даже для выращивания овощей. Питьевую воду им доставляют в цистернах, но далеко не в достаточном количестве, и эти несчастные воруют друг у друга остатки пресной воды. А на зубах у них всегда хрустит песок.

Я представил себе эту жизнь и подумал, скольких мест ещё не достигла цивилизация. Как много предстоит преодолеть трудностей, чтобы жизнь стала сносной для всех.

В нашу дверь постучали. Это оказался проводник, который спросил билеты и извинился за то, что забыл их взять у нас ночью. А сейчас пойдёт проверка билетов, которые должны находиться у него. Флорентиец подал их проводнику.

— Завтрак, чай, — сказал он ему с иностранным акцентом.

Я объяснил проводнику, что мой брат желает завтракать в купе, а не ходить в вагон-ресторан. Он взялся принести нам завтрак, но сказал, что хороший вагон-ресторан прицепят только в Самаре, а пока кормят плохо. На мой вопрос о фруктах ответил, что может их достать сейчас и даже отличные. Я дал ему денег, подумав, сколько же из них он пропьёт. И решил, что наше путешествие до Москвы будет не самым комфортным и вряд ли

мы получим съедобный завтрак. Но я ошибся. Проспавшийся проводник оказался честным малым. Он вскоре принёс отличный кофе со сливками, вкусный хлеб, масло, сыр и фрукты и всю до копейки сдачу.

Когда завтрак был окончен и всё убрано, Флорентиец сказал мне:

— Теперь приготовься выслушать, от каких бедствий мы спаслись и какие грозы собираются над головой Али. Люди в одежде дервишей и тот третий, с билетами, которых мы встретили ночью у водонапорной башни, гнались за нами. Фанатики и муллы выследили нас благодаря многочисленности монашествующих сект и отличной шпионской организации, связывающей их всех между собой. Прибежавший к дервишам сарт с билетами сказал им, что мы следуем в К. в международном вагоне, что ты едешь в одежде слуги и тебя надо прикончить в толпе на перроне. А меня надо постараться захватить живьём, когда начнётся переполох. Теперь они уже подъезжают к К. Они сели на той станции, где мы сошли, всё там обследовали и потому будут уверены, что нас там не было. За хутором Али, откуда нам прислали лошадей, вели слежку весь день. Убедившись окончательно, что нас там нет, они попросили кучера довести их до станции к ночному поезду. Он с удовольствием это сделал, так как иначе ему невозможно было бы выехать за нами, не возбудив ничьих подозрений. Доставив их на станцию, он тотчас уехал, будто бы домой, а на самом деле остановился в том месте, которое Али указал мне в телеграмме. И вот след наш теперь так запутан, что найти нас трудно. Но всё же, чтобы нам ехать не ввоём, ведь они ищут двоих, надо послать телеграммы двум моим друзьям, чтобы они перехватили нас на этом поезде, как и где только смогут, и как можно скорее...

Я вызвался отправить телеграммы, но Флорентиец сказал, что это надо поручить проводнику. Телеграммы были написаны. Отдавая проводнику телеграммы и деньги, Флорентиец сказал:

— Всё, что останется, возьмите себе. — И задержав его грубую руку в своей прекрасной руке, прибавил тихим проникновенным голосом: — Только не пейте больше. Это не облегчит вашего горя, а прибавит ещё несчастий.

Тут произошло что-то необыкновенное. Проводник схватил обеими руками руку Флорентийца, приник к ней и зарыдал. Эти горькие рыдания раздирали мне душу. Слёзы стояли в моих глазах, я едва мог их удержать. Флорентиец усадил проводника рядом с собою на диван, отёр его слёзы своим чудесным, душистым носовым платком и сказал:

— Не горюйте. Девочка ваша умерла, но жена жива. Вы оба очень молоды, и будут ещё у вас дети. Но надо так жить, чтобы дети рождались здоровыми, а поэтому никогда не пейте. Дети алкоголиков всегда бывают больными и, чаще всего, несчастными.

Он подал ему стакан с водой, накапав туда каких-то капель. Придя в себя, проводник сказал:

— Я никогда не пил до этого раза. Но вернувшись домой, увидел мёртвого ребёнка и мёртвую жену, а тут ни минуты времени и надо уезжать, — не смог я с собой совладать, в дороге стал пить. Так это я вам, барин, рассказал ночью про своё горе. Всё спуталось в моей голове. Я думал, что это я прошлой ночью какому-то азиату рассказывал. Он бродил по вагонам, разыскивая своего товарища — слугу в коричневой одежде, и никак мне не верил, что такой у меня не едет. Всё я перепутал. Мне показалось, что он прошёл в международный вагон, а я задремал минут на пять. А оказалось, что уже две станции проехали, хорошо, что контролёр за это время не проходил. Ах, как я всё перепутал спяну! Думал, что это я ему рассказывал. — Он покачал недоумённо головой. — Грех-то какой! Невесть чего мерещится.

Флорентиец ещё раз пожал ему руку, повторил, что жена его не умерла, а была в глубочайшем обмороке, что это бывает при родах. Он советовал ему послать домой телеграмму с оплаченным ответом на Самару до восстановления.

— Так значит, вы, барин, доктор. Оно и видать. Только доктор и может человека человеком признать, пусть он и беден. Вы не погнушались мне руку пожать, — говорил проводник, аккуратно складывая платок Флорентийца и возвращая его.

— Возьмите его на память о нашей встрече, друг, — сказал Флорентиец. — А это передайте вашей жене, когда вернётесь домой, чтобы принимала по одной капле перед каждой едой. Когда все капли выпьет, поправится совсем. Флакон пусть оставит себе на память о докторе. Когда вам будет тяжело в жизни, поглядите на флакон, подержите в руках мой платок и подумайте о моих словах, как я просил вас никогда не пить.

Он ещё раз пожал проводнику руку, задержав её в своих, улыбнулся ему и сказал:

— Мы ещё с вами увидимся. Не теряйте мужества. Пьяный человек — не человек, а только двуногое животное. Не скорбите, что потеряли ребёнка, а радуйтесь, что жива любимая жена. Бегите, подъезжаем.

Проводник вышел, мы остались одни. На душе моей было пасмурно. Я-то знал отлично, что Флорентиец не говорил с проводником. Откуда он мог знать о его горе, его жене? Какая-то досада и раздражение опять подымались во мне: опять эта ненавистная таинственность.

— Не надо сердиться, Лёвушка, — сказал мне Флорентиец, нежно обняв меня за плечи. — Право же, на свете нет чудес. Всё объясняется очень просто. Я вышел ночью в коридор, слышу, кто-то плачет и причитает. Я пошёл на голос и увидел этого несчастного перед откупоренной бутылкой водки,

которой он жаловался и изливал горе по умершим жене и новорождённой дочке. Не надо быть врачом, чтобы знать, что у женщин при болезни почек во время родов случаются глубочайшие обмороки. Я уверен, что тут был как раз такой случай и что его жена потом пришла в себя, но у бедняги не было времени дожидаться и убедиться в этом. Ты уже не ребёнок, — продолжал он, усаживая меня подле себя. — Тебе пора оставить манеру прежде всего сердиться, если ты чего-нибудь не понимаешь. Во всём, что тебе кажется таинственным и непонятно чудесным из происшествий последних дней, — ты бы сам убедился, если бы не раздражался, а собирал волю и бдительно наблюдал, — нет чудес, а есть та или иная степень знания.

Голос его и выражение милых глаз, всё было так отечески нежно и ласково, что я приник к нему, — и снова волна радости, уверенности и спокойствия пробежала по мне. Я был счастлив.

Вскоре вернулся проводник, принёс квитанции на посланные телеграммы и букет роз, которым украсил наш столик. Флорентиец сказал, что ждёт в Самаре двух своих друзей, для которых просит оставить соседнее с нами купе. А что касается нашего, то хочет занять в нём все четыре места, чтобы хорошенько отдохнуть. Проводник объяснил, что, заплатив за лишние две плацкарты, мы получили право на всё купе. Но если хотим заказать купе для друзей, должны внести вперёд сумму за заказ и билеты, что мы сейчас же и выполнили.

Дальше наше путешествие проходило без осложнений. В Самару мы должны были приехать ночью. Я очень устал, мне хотелось спать, и я попросил проводника сделать мне постель. Флорентиец сказал, что будет ждать друзей, от постели отказался, а для них попросил приготовить постели в соседнем купе. Я спросил проводника, почему наш вагон совсем пустой. Он объяснил, что сейчас все едут на ярмарку в дальние восточные города, что в ту сторону вагоны заполнены до отказа купцами всех наций; а оттуда пока идут пустые поезда. Но через две недели нельзя будет достать ни одного билета обратно, даже в третьем классе.

Постель моя была готова, я отлично вымылся, с восторгом переоделся в чистое бельё, присланное мне в подарок Али Махмудом, мысленно поблагодарил его, дав себе обещание отблагодарить его за заботу, пожелал спокойной ночи Флорентийцу и мигом заснул.

ГЛАВА 7

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Проснувшись, я увидел, что диван Флорентийца пуст. Должно быть, было уже довольно позднее утро, и — что меня особенно поразило — в окна стучал частый крупный дождь. С тех пор как я приехал к брату в К., где летом никогда не бывает дождя, о котором мечтаешь, покрытый потом и пылью, как о манне небесной, — это был первый дождь.

Я мигом вскочил и засмеялся, вспомнив, как меня поразила быстрота движений Флорентийца, когда он вот так же внезапно сел, проснувшись. И я сейчас, точно кот, почуявший мышь, бросился к окну и отдёрнул занавеску.

Дождь показался мне добрым, родным братом. В его серой пелене был виден лес, настоящий зелёный лес, и не было жары.

Какая-то нежность к своей родине, даже как бы чуть-чуть раскаяние, что я мало ценил её до сих пор, с её лесами, рощами, зелёными полями и сочной травой, пробудились во мне. Я радовался, что попал снова в свой край, где нет серо-жёлтого ландшафта, одинаково пустынного на десятки вёрст, с торчашими, как бирюзовые горы, голубыми куполами и минаретами мечетей. И как только эта восточная картина мелькнула в моём воображении, так сразу же встала передо мной и вся цепь событий, людей, отдельных слов и небольших эпизодов последних дней. Моя радость потускнела, быстрота движений исчезла. Я стал медленно одеваться и думать, какой сумбур царит в моей голове. Я положительно не мог связать все события в ряд последовательных фактов. И всё, что было третьего дня, вчера или два дня назад, — всё сливалось в какой-то большой ком, и я даже не всё отчётливо помнил.

Внезапно в коридоре я уловил какое-то слово, и тембр голоса опять показался мне знакомым. «Странно, — подумал я. — Всегда у меня была изу-

мительная память на лица и голоса. А теперь и этот дар я, кажется, теряю. Должно быть, проклятая шапка дервиша да жара повредили мне не только слух, но и мозги».

В эту минуту снова донёлся из коридора баритональный, неповторимо красивый голос. Я даже сел от изумления, и всего меня бросило в жар, хотя ни о какой жаре и помина не было. «Нет, положительно я стал какой-то порченный, как говорил денщик брата, — продолжал я думать, утирая пот со лба. — Не может это быть дервиш, который дал мне своё платье и у которого мы останавливались ночью». Всё завертелось в моей голове, до физической тошноты, недоумение заполнило меня всего. Я думал, что, если бы под страхом смертной казни я должен был рассказать в эту минуту подробный ход событий, я бы не мог их передать, память моя отказывалась логически работать. Я сидел, уныло повесив голову, а в коридоре теперь уже явно различал английскую речь — один из голосов принадлежал Флорентийцу, а другой был всё тот же чудесный металлический баритон, мягкий, ласкающий слух; но, казалось, прибавь этому голосу темперамента, — и он может стать грозным, как стихия.

«Нельзя же так сидеть растерянным мальчиком. Надо выйти и убедиться, кто же говорит с Флорентийцем», — продолжал я думать, напрасно стараясь отдать себе отчёт, когда точно я видел мнимого дервиша, сколько прошло времени с тех пор, мог ли он очутиться здесь сейчас.

Только я решился выйти из купе, как дверь открылась, и вошёл Флорентиец. Его прекрасное лицо было свежо, как у юноши, глаза сияли, на губах играла улыбка, — ну, век смотрел бы на это воплощение энергии и доброты; и никогда не поверил бы, как сурово и серьёзно может быть это лицо в иные моменты.

Он точно сразу прочёл все мои недавние мысли на моём расстроенном лице, сел рядом, обнял меня и сказал:

— Мой милый мальчик! События последних дней могли расстроить и не такой хрупкий организм, как твой. Но всё, что ты испытал, ты перенёс героически. Ни разу страх или мысль о собственной безопасности не потревожили твоего сердца. Ты был так верен делу спасения брата, как только это возможно. Теперь я узнал о судьбе обоих Али и их домочадцев.

И он рассказал мне, как Али с племянником, проводив нас и дервиша, вернулись в город. Там они вывели из дома всех жильцов и спрятали их в глубоком бетонном погребе, расположенном в каменном сарае в самом конце парка. Туда же успели вынести из дома наиболее ценные ковры и другие вещи, замаскировав вход так, что найти его никто не мог. Там, в этом укрытии, Али и все его домочадцы провели ту страшную ночь, когда толпа дервишей и правоверных накинулась на его дом. Ужасов, неизбежных

в таких случаях, — как выразился Флорентиец, — он не стал мне рассказывать. Власти, услышав, что религиозный поход принимает колоссальные размеры, — а это уже никого не устраивало, — разослали по всему городу патрули. Но патрули вышли тогда, когда дом Али был уже подожжён со всех сторон.

С домом моего брата фанатики поступили так же. Сухой как щепка старый дом сгорел дотла. Но тут несчастья было больше. Подкупленный денщик пустил вечером каких-то незнакомцев в дом, якобы для того, чтобы осмотреть великолепную библиотеку брата. Вошедшие стали угощать его вином, до которого он был великий охотник, очевидно, угостились и сами на славу. Как было дело дальше, — никто толком пока не знает. Но факт, что два человека там сгорели, а денщик еле выскочил из горящего дома. Ему рамой расшибло голову, когда он выпрыгивал из окна. Еле добравшийся до задней калитки сада, полуодетый, окровавленный, почти в безумном состоянии, он был подобран проходившим патрулём и доставлен в госпиталь. Там в бреду он всё повторял:

— Капитан — барин... брат... Они насильно лезли. — И снова: — Капитан... барин... брат... Я их не пускал... Они подожгли.

Военный доктор, узнав от солдат, что больной им известен, что это денщик капитана Т., встревожился и послал доложить генералу о пожаре. Он спрашивал, известно ли кому-нибудь, где капитан Т., не сгорел ли он вместе с братом в своём доме? Доктор сообщал также, что от денщика его узнать ничего толком нельзя, и надо думать, в себя он не придёт и скоро умрёт.

Разбуженный генерал, предубеждённый вообще против местного населения, ненавидевший к тому же, когда тревожили его ночной покой, — помчался прямо к губернатору. Он там закатил такой спектакль, что всех немедленно поднял на ноги. Ничего не видевшие и не слышавшие до этой минуты власти, считавшие местные дела не подлежащими санкциям со стороны царских властей, сразу же спохватились, прозрели и кинулись тушить пожар фанатизма, объявив этот религиозный поход бунтом.

Хорошо заплатив местным властям за невмешательство, бесчинствующая толпа фанатиков была поражена примчавшейся пожарной командой и рядом военных. Мулла стал уверять дервишей и толпу, что это только инсценировка, что никого не тронут. Но когда увидел выстроившуюся цепь солдат, готовых к стрельбе, — первый бросился бежать со всех ног, за ним разбежалась и вся толпа.

Дом Али удалось наполовину отстоять, но дом брата горел, как костёр, пламя бушевало с такой силой, что даже подступиться к нему близко было невозможно. Очевидно, благодаря бреду бедняги-денщика создалась уверенность, что капитан Т. и его брат сгорели в этом доме.

Пока Флорентиец всё это мне рассказывал, у меня, как у одержимых навязчивой идеей, сверлила в голове мысль: «Чей я слышал голос? Как зовут этого человека?» Не в первый раз за наше короткое знакомство я замечал поразительное свойство Флорентийца: отвечать на мысленно задаваемый вопрос. Так и теперь, он мне сказал, что в Самаре в наш вагон сели два его друга, которых он встретил на перроне.

— Один из них тебе уже знаком, — проговорил он с неподражаемым юмором, так комично подмигнув мне глазом, что я покатился со смеху. — Его зовут Сандра Кон-Ананда, он индус. И ты не ошибся, голос его мог бы сделать честь любому певцу. Поёт он изумительно, прекрасно знает музыку, и ты, наверное, сойдёшься с ним на этой почве, если другие стороны этого своеобразного, интересного и очень образованного человека не заинтересуют тебя. Другой мой друг — грек. Он тоже человек незаурядный. Великолепный математик, но характера он более сложного; очень углублён в свою науку и малообщителен, бывает суров и даже резковат. Ты не смущайся, если он будет молчать; он вообще мало говорит. Но он очень добр, много испытал и всякому готов помочь в беде. По внешнему обращению не суди о нём. Если у тебя явится охота с ним поговорить, — ты перешибь застенчивость и обратись к нему так же просто, как обращаешься ко мне.

— Как я обращаюсь к вам?! — горячо, даже запальчиво воскликнул я. — Да разве может кто-нибудь сравниться с вами? Если бы тысячи дивных людей стояли передо мной и мне предложили бы выбрать друга, наставника, брата, — я никого бы не хотел, только вас одного. И теперь, когда всё, что мне было дорого и близко в жизни, — мой брат, — в опасности, когда я не знаю, увижу ли его, спасусь ли сам, — я радуюсь жизни, потому что я подле вас. Через вас и в вас точно новые горизонты мне открываются, точно иной смысл получила вся жизнь. Только сейчас я понял, что жизнь ценна и прекрасна не одними узами крови, но и той радостью жить и бороться за счастье и свободу всех людей, которую я осознал, находясь рядом с вами. О, что было бы со мной, если бы вас не было рядом все эти дни? Не важно даже, что я бы погиб от руки какого-нибудь фанатика. Но важно, что я ушёл бы из жизни, не прожив ни одного дня в бесстрашии и не поняв, что такое счастье жить без давления страха в сердце. И это я понял рядом с вами. Теперь я знаю, что жизнь ведёт каждого так высоко, как велико его понимание своего собственного труда в ней как труда-радости, труда светлой помощи, чтобы тьма вокруг побеждалась радостью. И все случайности, бросившие меня сейчас в водоворот страстей, мне кажутся благословенными, происшедшими только для того, чтобы я встретил вас. И никто, никто в мире не может для меня сравниться с вами!

Флорентиец тихо слушал мою пылкую речь; его глаза ласково мне улыбались, но на лице его я заметил налёт грусти и сострадания.

— Я очень счастлив, мой дорогой друг, что ты так оценил моё присутствие возле тебя и нашу встречу, — сказал он, положив мне руку на голову. — Это доказывает редкую в людях черту благодарности в тебе. Но не горячись. Если сознание твоё расширилось за эти дни, то, несомненно, и сердце твоё должно раскрыться. Должны стереться в нём, как и в мыслях, какие-то условные грани. Ты должен теперь по-новому смотреть на каждого человека, ища в нём не того, что сразу и всем видно, не броских качеств ума, красоты, остроумия или злых свойств, а той внутренней силы и доброты сердца, которые только и могут стать светом во тьме для всех окружающих, среди их предрассудков и страстей. И если хочешь нести свет и свободу людям в пути, — начинай всматриваться в них по-новому. Начиная бдительно распознавать разницу между мелким, случайным в человеке и его великими качествами, родившимися в результате его трудов, борьбы и целого ряда побед над самим собою. Начиная сейчас, а не завтра. Отойди от предрассудка, что человек тот, чем он кажется, и суди о нём только по его поступкам, стараясь всегда встать в его положение и найти ему оправдание.

Оба моих друга мало знают твоего брата и так же мало знают Наль. Но как только Али намекнул им месяц назад о возможности происшедшей сейчас развязки, они оба решили оставить все свои дела, ждали зова и приехали помогать Али точно так же, как и я. Попробуй первый раз в жизни взглянуть в их лица иначе. Пусть любовь к брату будет тебе ключом к новому пониманию сердца человека. Прочти с помощью этого ключа ту силу преданной любви, которая объединяет всех людей, без различия наций, религий, классово-розовой розни. Подойди к ним впервые как к людям, цвет крови которых такой же красный, как и у тебя.

Он обнял меня, сказал, что с Сандрой Кон-Анандой он уже пил кофе в вагоне-ресторане, а теперь мне следует проявить вежливость к другому гостю и предложить ему свои услуги спутника и гида. Он грек, и его зовут Иллофиллион. Он говорит по-русски плохо и очень стесняется говорить на этом языке в непривычной обстановке.

— Побори свою застенчивость, — прибавил Флорентиец, — вспомни, как я вёл тебя за руку в трудные минуты. Вообрази, что для него это тоже минуты неприятные, и облегчи ему их. Он отлично владеет немецким. Если тебе надоест его затруднённая русская речь, ты можешь заставить его рассказать по-немецки много интересного из его студенческих лет. Он окончил естественный факультет в Гейдельберге и математический в Лондоне.

С этими словами Флорентиец предложил мне скорее привести себя в полный порядок, достал мне из саквояжа кепи вместо панамы, и... я вздохнул и отправился знакомиться с греком, не менее застенчивым, чем я сам.

За свои двадцать лет я не очень часто бывал в обществе. Четырнадцать лет я прожил неотлучно с братом, под руководством которого проходил программу гимназии. Я разделял его кочевую жизнь, был с ним даже в Р-ском походе. Но когда брату пришлось перевестись с полком в далёкую Азию, он решил отдать меня в гимназию в Петербурге, где у нас была тётка. Он надеялся, что, быть может, удастся поместить меня пожить у неё. Но старая чванливая дама не пожелала иметь такого замухрышку своим компаньоном в повседневной жизни, — и брату пришлось выбрать гимназию с интернатом. На экзаменах — я проходил их для поступления в шестой класс — мои познания поразили учителей. Я сдал языки и математику блестяще. Сочинением на тему о сказке в произведениях великих писателей я их всех сразил. Они дали мне тему из русской литературы, я же понял её как тему в мировой литературе и навалял со свойственным мне азартом столько, что выданной бумаги мне не хватило. На просьбу дать мне ещё бумаги учитель с удивлением сказал, что за всю его жизнь ему пришлось впервые встретиться с тем, чтобы ученику не хватило бумаги, отпущенной на черновик и на переписку набело.

Подошедшему в эту минуту директору он показал мою работу, сказав, что вот уже три часа, как я пишу, почти не отрываясь. Директор взял мои листы, стал читать, прочёл почти целый лист и спросил, пристально на меня поглядев:

— Вы сын писателя?

— Нет, — ответил я, — я сын своего брата.

Увидев полное изумление на лицах директора и учителя, который едва сдерживался, чтобы не прыснуть со смеху, я смешался и быстро пробормотал:

— Простите, господин директор. Я сказал, конечно, несурязицу. Я хотел сказать, что не помню ни отца, ни матери. А как себя помню, — всё меня воспитывал и учил брат; и я привык видеть в нём отца. Вот потому-то я так нелепо и выразился.

— Это хорошо, что вы так любите брата. Но кто же готовил вас? Вы так прекрасно подготовлены!

— Брат занимался со мной по программе гимназии, других учителей у меня не было.

— А кто же ваш брат? — спросил, улыбаясь, учитель.

— Поручик N-ского полка, — ответил я.

Наставники переглянулись, и директор, всё ещё глядя удивлённо на меня, но улыбаясь мне мягкой и доброй старческой улыбкой, сказал:

— Или вы феномен по способностям, или ваш брат поразительный педагог.

— О да, мой брат не только педагог, но и такой учёный, какого больше и нет, — выпалил я восторженно. — Да вот и он, — закричал я, увидев милое лицо моего брата за стеклянной дверью класса.

И забыв, где я, кто передо мной, зачем я здесь, я выскочил в коридор и обвил шею моего дорогого брата руками. Как сейчас помню то страстное чувство любви, благодарности, тоски от предстоящей разлуки и радости от привычного объятия и ласки брата, какое я испытал тогда.

Тихо разняв мои руки, брат вошёл в класс, стал во фронт перед директором и сказал:

— Прошу извинить, ваше превосходительство, моего брата. В кочующей офицерской жизни мне удалось обучить его немногим наукам, которые я сам знал. Но манеры и дисциплинированность пока не удалось ему привить. Я надеюсь, что под вашим просвещённым руководством он их приобретёт.

Директор подал руку брату, познакомил его с учителем, с любопытством разглядывавшим его, и наговорил ему массу комплиментов по поводу моей подготовки и блестящих способностей. Но в моём сердце появилась первая трещинка. Я понял, что осрамил брата. Вспомнил, как часто он повторял мне, что надо всегда быть выдержанным и тактичным, вдумываться в обстоятельства, отдавать себе отчёт, где ты и кто перед тобой, — и только тогда действовать.

Весь этот эпизод детской жизни мелькнул сейчас передо мной, вызванный точно такой же спазмой сердца, которую я испытал тогда. Я встретил впервые чужого человека, который стал мне так же дорог и близок, как мой милый брат, — и я снова себя почувствовал неумелым ребёнком, не знающим, как подойти к чужому человеку, что ему сказать и как себя вести, чтобы выполнить желание Флорентийца и доставить ему удовольствие своим поведением... Я стоял в коридоре, не решаясь постучаться в соседнее купе, а в моей голове, точно молнией освещённый, пронёсся этот эпизод моей первой детской бестактности.

Сжав губы, вспомнил я из письма Али: «превозмогу», — и постучался.

— Войдите, — услышал я незнакомый мне чужой голос.

Я открыл дверь и чуть было не убежал назад к Флорентийцу, как когда-то к брату в коридор.

На диване, друг против друга, сидели рослые люди, но я увидел только две пары глаз. Глаза дервиша, — сразу запомнившиеся мне в первое свидан-

ние, глаза-звёзды, — и пристальные, почти чёрные глаза грека, напоминавшие прожигающие глаза Али-старшего.

— Позвольте теперь познакомиться с вами по всем правилам вежливости, — сказал, вставая, Сандра Кон-Ананда. — Это мой друг Иллофиллион.

Он пожал мне руку, я же неловко мял в руке своё кепи и, кланяясь греку, проговорил, как плохие ученики нетвёрдо выученный урок:

— Ваш друг Флорентиец послал меня к вам. Может быть, вам угодно пойти в вагон-ресторан выпить кофе? Я могу служить вам гидом.

Грек, пристальный взгляд которого вдруг перестал быть сверлящим, а засветился юмором, быстро встал, пожал мне руку и сказал с сильным иностранным акцентом, очевидно выбирая слова, но совершенно правильно по-русски:

— Я думаю, мы с вами — «два сапога — пара». Вы так же застенчивы, как и я. Ну, что же. Пойдём вместе. Мы, конечно, не найдём двести, но потеряем четыреста. А всё же мы с вами подходим друг другу, и, наверное, пока решимся спросить себе завтрак, — всё съедят у нас под носом, а мы останемся голодными.

Говоря так, он скроил такую постную физиономию, так весело потом рассмеялся, что я забыл всё своё смущение, залился смехом и уверил его, что буду решительно беззастенчив и накормлю его до отвала.

Мы вышли из купе под весёлый смех Кон-Ананды.

Пройдя в вагон-ресторан, я быстро нашёл там столик в некурящем отделении, заказал завтрак и старался занимать моего нового знакомого, обращаясь к нему на немецком языке. Он отвечал мне очень охотно, спросил, бывал ли я в Греции. Я со вздохом сказал, что дальше Москвы, Петербурга, Северного Кавказа и К., где был в первый раз и очень коротко, нигде не бывал. Нам подали кофе, и я, пользуясь правом молчания за едой, украдкой, но пристально рассматривал моего спутника.

Положительно, за мою детскую и юношескую монотонную жизнь сейчас я был более чем вознаграждён судьбой, встретив сразу так много событий и лиц, не только незаурядных, но даже не уместяющихся в моём сознании. Казалось, надеть моему греку венок из роз на голову, накинуть на плечи хитон, — и готова модель для лепки какого-нибудь олимпийского бога, древнего царя, мудреца или великого жреца, — но в современное одеяние в моём сознании он как-то не влезал. Не шёл ему европейский костюм, не вязался с ним немецкий язык, — скорее ему подошли бы наречия Испании или Италии. Правильность черт его лица не нарушал даже низкий лоб с выпуклостями над бровями — тонкими, изогнутыми, длинными — до самых висков. Нежность кожи при таких иссиня-чёрных волосах и едва заметные усы... Про него действительно можно было сказать: «Красив, как Бог».

Но того обаяния, которым так притягивал к себе Флорентиец, в нём не было. Насколько я не чувствовал между собою и Флорентийцем условных границ, — хотя и понимал всю разницу между нами и его огромное превосходство во всём, — настолько Иллофиллион казался мне замкнутым в круг своих мыслей. Он точно отделён был от меня перегородкой, и проникнуть в его мысли, думалось мне, никто бы не смог, если бы он сам этого не захотел.

Мы дождались следующей остановки, вышли из ресторана и прошлись по перрону до своего вагона. Мой спутник поблагодарил меня за оказанную ему услугу, прибавив, что гид я очень приятный, потому что умею молчать и не любопытен.

Я ответил ему, что детство прожил с братом, человеком очень серьёзным и довольно молчаливым, а юность не баловала меня такими встречами, когда люди бы интересовались мною. Поэтому хотя я и очень любопытен, вопреки его заключению, но научился, так же как и он, думать про себя. Он улыбнулся, заметив, что математики — если они действительно любят свою науку — всегда молчаливы. И мысль их углублена настолько в логический ход вещей, что даже вся Вселенная воспринимается ими как геометрически развёрнутый план. Поэтому суета, безвкусица в высказывании не до конца продуманных мыслей и суетливая болтовня вместо настоящей, истинно человеческой осмысленной речи, какой должны были бы обмениваться люди, пугает и смущает математиков. И они бегут от толпы и суеты городов с их далёкой от логики природы жизнью.

Он спросил меня, люблю ли я деревню и как я мыслю себе свою дальнейшую жизнь. Я ответил, что вся жизнь моя прошла пока на гимназической и студенческой скамье. Рассказал ему, как поступил в гимназию, смеясь, вспомнил и блестящие экзамены. Потом рассказал и о первом горе — разлуке с братом и жизни в Петербурге. А затем, как бы для самого себя, подводя итоги какого-то этапа жизни, сказал ему:

— Сейчас я на втором курсе университета и тоже горе-математик. Но мои занятия даже ещё не привели меня к пониманию, какую жизнь я хотел бы себе выбрать, где бы хотел жить, и я даже не понимаю пока, какое место в жизни вообще занимает моя фигура.

Мы стояли в коридоре, и мой собеседник предложил мне войти в его купе. Наш разговор — незаметно для меня — принял тёплый товарищеский характер. Меня перестала смущать внешняя суровость моего нового знакомого, наоборот, я почувствовал как бы отдых и облегчение в его присутствии. Мои мысли потекли спокойнее; мне очень хотелось узнать об университетах Берлина и Лондона, и я был рад посидеть с моим новым другом. Но мне очень хотелось также заглянуть к Флорентийцу и передать ему, что

я не осрамился, выполняя его поручение, и что грек — очень интересный человек.

Только я собирался сказать, что зайду на минутку в своё купе, как дверь открылась, и на пороге я увидел Кон-Ананду. Он сказал, что Флорентиец заснул и что, если мне интересно поговорить с Иллофиллионом, он охотно посидит в моём купе и покараулит сон Флорентийца. Я уже знал хорошо, как крепко тот спит, и с удовольствием согласился поменяться местами с Анандой на некоторое время. Мы продолжали прерванную было беседу. Чем дальше говорил Иллофиллион, тем сильнее поражался я его знаниям, наблюдательности, а главное, силе его обобщений и выводов. Я сам не лишён был синтетических способностей, хорошо разбирался в логике, сравнительно много читал. Но все мои, называемые блестящими, способности показали мне жалким хламом, сброшенным в лавке старьевщика в общую кучу, в сравнении с чёткостью мысли и речи моего собеседника.

— Как странно я чувствую себя сегодня. Точно я поступил в новый университет и прослушал ряд занимательнейших лекций. Но если бы вы ещё рассказали мне о быте студентов, с которыми вы учились, об уровне их развития и интересов, — сказал я.

И снова полилась наша беседа, причём мой собеседник проводил параллель между студенчеством Греции, Германии, Парижа и Лондона, которое он имел возможность наблюдать. Я ловил каждое слово. Он говорил так просто и вместе с тем так образно, что мне казалось, будто я сам путешествую вместе с ним, всё слышу и вижу собственными глазами.

Страстная жажда знаний, жажда видеть мир, людей, узнать их нравы и обычаи наполнили меня экстазом. Я перестал отдавать себе отчёт о времени и месте, забыл, что я всё своё образование получил трудами брата, бедного русского офицера, и решил, что непременно увижу весь свет и не оставляю ни одного угла, не побывав там.

— А хотелось бы вам путешествовать? — услышал я вопрос Иллофиллиона.

Точно свалившись с неба, я осознал, что никак не смогу объехать не только всего мира, но даже своей родной России, потому что я беден и до сих пор умею зарабатывать только гроши уроками да переводами.

— Хотеть-то я очень бы хотел, — вздохнув, ответил я. — Но мне не везёт с путешествиями. После пятилетней разлуки с братом, пока я заканчивал гимназию и поступал в университет, я выбрался наконец к нему в Азию. Мечтал увидеть новый свет и новый народ, — и вот всё скомкалось. И брата я теперь потерял, — прибавил я тихо, вспомнив, с какой радостью я ехал на свидание с ним в далёкое К. и с какой скорбью возвращаюсь оттуда.

Иллофиллион склонился ко мне, необыкновенно ласково поглядел мне в глаза и так же тихо ответил:

— Я всем сердцем сострадаю вам, друг. Я тоже пережил такой момент жизни, когда потерял всё, что любил, и всех, кого любил, в один день. Но моё состояние было хуже вашего, потому что я не мог помочь никому из тех, кого любил. Когда я сам, тяжело раненный, пришёл в себя, я увидел только похолодевшие трупы своих родных и близких. А что касается всех моих надежд, идеалов, стремлений, исканий истины и чести, — всё это также было выметено из моей души и превращено в прах, ведь убийцами были фанатики-лицемеры, разыгрывавшие роль друзей... — Он помолчал и продолжал ещё более проникновенным тоном: — Ваше положение много лучше того момента моей жизни. Вы ещё не потеряли брата, вы только в разлуке с ним. Вы ещё можете ему помочь и уже начинаете дело помощи. Я приехал погостить к Али пять лет тому назад, возвращаясь из путешествия по Индии, и познакомился у него с вашим братом. Али рассказал мне о его чистой жизни большого учёного-самоучки, о его беззаветной преданности идее свободы. Такие, редко встречающиеся в русском офицере качества, я помню, меня очень тронули. И когда я увидел вашего брата, его прекрасное лицо сказала мне так много, что я сразу стал ему преданным другом. А вы знаете из наблюдений даже такой короткой и юной жизни, как ваша, что цельные, устремлённые характеры не умеют отдавать своих сердец в дружбе наполовину. Мы часто виделись с вашим братом. И это я пополнял постоянными посылками редких книг его прекрасную библиотеку. Удивительно, что странствующая жизнь офицера не помешала ему таскать за собой повсюду сундуки с книгами. Ну а когда он осел в К., тут уж подлинно он собрал настоящую ценность — библиотеку мудреца. Как жаль, что всё это погибло...

Снова помолчав, придвинувшись ближе, он добавил:

— Мне по опыту понятно ваше состояние. И то, что я вам скажу, я решаюсь сказать только потому, что сам прошёл через все печальные этапы человеческой жизни, от которых страдаете вы. Нельзя думать, как думает всегда юность, что жизнь ценна главным образом тем личным счастьем, которое она сулит. Не считайте корнем вашего положения сейчас страдание и опасности, которые вы переносите за брата. Откиньте личные чувства и мысли о себе; думайте о защите брата, о труде и энергии, которыми вы поможете ему выйти живым и свободным из десятка ловушек, а их наверняка будут расставлять ему фанатики и царское правительство, не очень-то любящее думающих офицеров. Если бы вам не удалось увидаться с братом...

— Как, — вскричал я в ужасе, — вы полагаете, что он умер?

— О нет, я уверен, что он жив и уже в Петербурге, — ответил он. — Я говорил только о весьма возможной случайности, что вам не удастся увидеться с братом в ближайшее время и он не сможет взять вас с собой.

— О, это было бы ужасно. За целых пять лет я не провёл с ним и двух месяцев, если сосчитать те редкие дни, когда он приезжал ко мне в Петербург. Я жил надеждами. Наконец сбылась моя мечта, я должен был прожить с ним лето и даже часть осени, — и снова я одинок...

Тоска, раздражение, протест вдруг овладели мной. Мне подумалось, что чужие люди встали между мной и братом. Увлекли его интересы чужого народа, а я, брат-сын, оказался брошен, забыт и не нужен. Буря, вихрь страстей рвали моё сердце! Ревность, как дикие кони, таскала мою мысль от одного события к другому, от одних лиц к другим...

Мой товарищ молчал. Долго молчал и я. Наконец раздражение стало стихать. Я перестал ломать руки, и преданность брату, благодарность за его любовь и заботы взяли верх над грубыми чувствами моего эгоизма и отчаяния.

Я вспомнил лицо брата там, на дороге, под величественным деревом, когда Али высаживал из коляски Наль. Тогда меня поразило это лицо незнакомого мне человека, человека недюжинной воли, чьи брови слились в одну сплошную линию. И этот человек не был тем моим братом-добрядком, которого я знал. Это был незнакомец, чей поток энергии устремляется как лава, сметая всё на пути. Тогда я был просто поражён и не сделал того единственного вывода, который сделал бы всякий более опытный человек. А может быть, быстрота и необычайность последующих событий похоронили тот вывод в моём сознании, зато сейчас он стал мне ясен: я понял, что я совсем не знал моего брата, что всё то, что он отдавал мне — круглому сироте, стараясь вознаградить меня за бедность детства без материнской ласки и нежности, — было только небольшой частью души моего брата...

И вдруг, как маленький мальчик, я разрыдался. Я почувствовал себя ещё более одиноким, обманутым чудесной иллюзией, которую я сам себе создал. Я принимал брата-отца за то существо, которое всецело принадлежало мне; у которого первой заботой был я и который всю ценность жизни видел во мне. До этой минуты я полагал, что и он, как я сам, начинал и кончал свой день, идя мысленно рядом со мной и делая все дела обиходной жизни для того только, чтобы в конце какого-то периода жизни увидеться со мной и уже не разлучаться никогда более. Теперь, в огромной внутренней борьбе, я разглядел в моём брате лицо другого, незнакомого мне человека. Я увидел ряд его интересов, не имеющих ко мне никакого отношения, его спаянность с другими, едва знакомыми мне людьми. И в первый раз мелькнул у меня в сознании вопрос: «Что такое вообще брат? И кто настоящий брат? Какую

роль играет родство людей по крови? Что ближе: гармония мыслей, чувств, вкусов или привязанность единоутробия?»

Я не замечал, что слёзы продолжали литься из моих глаз. Но теперь это не были бурные рыдания ревнивого разочарования, какой-то иной, сладкий привкус получили мои слёзы. Не то я временно похоронил что-то детское и прекрасное, не то рвал в себе старую привычку воспринимать людей как опору лично для себя, — я как будто встал в новую и чуждую ещё мне шкуру мужчины, где слова «мать», «отец» и соединённая с ними нежность отходили на второй план. Не то я сладко мечтал о семье, которой не знал, семье, опорой которой должен был стать я сам.

Трудно рассказать теперь о тех юношеских переживаниях. Но, пожалуй, одну из капель горечи прибавляло сознание, что я так юн, так ребячлив и неопытен в делах жизни и так плохо воспитан. Я приложил все усилия, чтобы остановить слёзы. Стыдно было плакать так безудержно перед чужим человеком. И когда мысль перешла от сожалений о самом себе к брату, я вспомнил снова и письмо Али, и недавние слова Флорентийца. Я вытер слёзы и, не глядя на моего спутника, тихо сказал:

— Простите меня, я не в силах был сдержаться.

Я ждал обычного, быть может, дружеского соболезнования. Но то, что я услышал, ещё раз показало мне, как плохо я разобрался в людях.

— Не раз в жизни я плакал так же горько, как плакали вы сейчас. И верьте, детство мы все хороним трудно. Иллюзии любви и красоты, создаваемые нашим воображением, до тех пор терзают нас, пока мы сами не завоем полную свободу от них. И только тогда рушатся наши иллюзорные желания всякой красоты вовне, когда оживёт в нас всё то прекрасное, что мы в себе носим. Все толчки скорби, потерь, разочарований учат нас понимать, что нет счастья в условных иллюзиях. Оно живёт только в свободном добровольном труде, не зависящем от наград и похвал, которые нам за него расточают. В том труде, который мы внесём в свой обычный рабочий день как труд любви и радости, отдав его укреплению и улучшению жизни людей, их благу, их счастью.

Иллофиллион обнял меня и стал рассказывать историю своей жизни.

В тот ужасный день, очнувшись от глубокого обморока, он увидел себя лежащим в крови среди мёртвых тел друзей и родных. Погибло всё и все, с чем он был с детства связан; он не знал, куда ему идти, что делать, вся семья его была убита. Он вспомнил, что у него была старая нянька, жившая в горах, недалеко от той долины, где стоял дом его родных. Но он не знал, к какой политической партии она примкнула. Быть может, и она убита так же, как и несколько семейств этой долины, своими вчерашними единомышленниками, а сегодняшними врагами.

Но раздумывать было некогда. Иллофиллион спустился к морю, выкупался, переоделся в чужое платье, кем-то забытое или брошенное на берегу, и побрёл, обливаясь слезами, по уединённой тропе, в другую часть острова к старой няне.

— Я не буду утомлять вас подробностями своей скитальческой жизни, — продолжал Иллофиллион. — Коротко скажу, что с помощью старушки, с её деньгами я сел на пароход и отправился в Рим, где у неё был сын, талантливый ювелирных дел мастер, как она мне сказала. На пароходе я, вероятно, умер бы от горя и голода, если бы меня не нашёл уже знакомый вам Кон-Ананда. В одну из ночей, уже совершенно изнемогая от лихорадки, в полусознательном состоянии, я услышал над собой разговор на итальянском языке, который я хорошо знал от моей няни, родом итальянки. Молодой звучный и прекрасный голос говорил:

— Что это? Никак здесь лежит мальчуган?

Другой, сильный и грубый, как бы нехотя цедил слова сквозь зубы:

— Какой это мальчуган? Это целый мужик, смертельно пьяный.

Я всей душой хотел закричать, что я не пьян, что я умираю от голода и холода и прошу помощи, но не мог произнести ни слова. Я уже приготовился умирать, и мелькнувшая было, а теперь исчезавшая надежда на спасение показалась мне ещё одним надругательством судьбы надо мной. Тяжело ступающие шаги пошли прочь, унося с собой ворчание грубого голоса. Я думал, что и другой голос замрёт вдали, как вдруг сильная рука нежно приподняла мою голову и горестное «Ох» вырвалось, как стон.

Глаза я от слабости открыть не мог. Склонившийся надо мной незнакомец громко что-то закричал своему спутнику. Тот, нехотя, едва волоча ноги, снова подошёл к нему. Повелительный тон молодого, в котором слышалась непреклонная воля, мигом привёл ворчуна в другое настроение.

— Одним духом отправляйся за носилками и доктором, старый лентяй. Так-то ты следил за нашими вещами в трюме, что не видел, как здесь умирает человек.

— Виноват, барин, этот воришка, верно, только что пробрался сюда. Я проверял ящики, всё было цело.

— Брось бессмысленную болтовню. Какой он воришка? Ведь это слабый ребёнок! Мигом — носилки и доктора! Или ты отведаешь моей палки.

Куда девалась шаркающая походка? «Есть», — выговорил слуга зычным басом и побежал так, как и я бы не смог, хотя бегал я, здоровый, хорошо.

— Бедный мальчик, — услышал я над собой тот же проникновенный голос. И как он был нежен, этот голос. Точно ласка матери, проник он мне в сердце, и жгучие, как огонь, слёзы скатились по моим щекам.

— Слышишь ли ты меня, бедняжка?

Я хотел ответить, но только стон вырвался из моих запёкшихся губ, языком я двинуть не мог; он, точно мёртвое, сухое, шершавое постороннее тело, не повиновался мне.

— Я спасу тебя, спасу во что бы то ни стало, — продолжал говорить незнакомец. — Мой дядя — доктор...

Но дальше я уже не слышал, я провалился в бездну.

Когда я очнулся, я увидел себя в просторной, светлой комнате. Окна были открыты, постель была такая мягкая и чистая. Я подумал, что я дома. Память унесла всё грозное, что я пережил; и я стал ждать, что сейчас войдёт мама, станет ласково меня бранить за леность. Она имела привычку говорить со мной по-немецки, хотя была гречанка. Но мать её была немка, и она привыкла к этому языку как к своему родному. Я всё ждал её милого: «Лоллион», но она что-то долго не шла. Тогда я решил её поуготать, как иногда проделывал это в раннем детстве, крича во всё горло, а она делала вид, что страшно испугалась, складывала моляще свои прелестные руки и преуморительно говорила по-немецки:

— О господин охотник, право, крокодил меня сейчас проглотит. Пожалуйста, не теряйте времени на крик, убейте его скорее.

Я закричал, как мне показалось, во весь голос; но получился очень слабый звук, похожий скорее на долгий стон.

— Ну, вот он и очнулся, — сказал позади меня голос. — Мой дядя, вы не доктор, а чудо-волшебник.

С этими словами к кровати подошли два совершенно незнакомых мне человека. Один из них, как вы, конечно, сами догадались, был Кон-Ананда, которого вам и описывать нечего; другой ещё не старик, но гораздо старше. Приветливое лицо, ласковые карие глаза и какое-то необычайное благородство, манеры, мною ещё не виденные, сразу объяснили мне, что это человек того высшего света, о котором пишут в романах, но который недоступен людям среднего класса. Я понял, что вижу впервые вельможу.

— Ну, дружок, теперь мы можем быть спокойны, что ты будешь совершенно здоровым человеком, — сказал вельможа по-итальянски. — Не можешь ли ты объяснить мне, какой сегодня день?

Я смотрел на него, совершенно ничего не понимая. Память ещё не вернулась ко мне. Он налил в стакан какой-то жидкости, довольно сильно пахнувшей, и помог мне её выпить. Я посмотрел на лицо Ананды и не узнал, конечно, в нём моего спасителя. Сон снова меня одолел.

Когда я вновь проснулся, мне показалось, что возле постели сидит женская фигура. Я подумал, что это мама; но на этот раз я уже помнил о моём первом пробуждении и поэтому совсем не удивился, когда увидел Ананду.

Я не мог ни в чём отдать себе отчёта и механически заговорил по-немецки:

— Я видел только что маму. Зачем же она ушла?

— Она сильно устала, — ответил он мне. — Если я вам не очень неприятен, то позвольте мне вас накормить обедом. Хотя предупреждаю, что называть обедом то, чем я буду вас кормить, нельзя. Доктор очень строг, и вам позволено есть только жидкие каши и кисели.

Он помог мне сесть в постели и, как ни осторожно он это делал, я едва не упал в обморок. Он быстро дал мне глоток вина, и вскоре обед был кончен; но ему пришлось кормить меня с ложечки.

Такая моя жизнь длилась около месяца. И сколько раз я ни спрашивал о маме, она всегда или спала, или устала, или поехала за покупками. На мои вопросы, чья это комната, он всегда отвечал: «Ваша». Как-то раз я спросил, отчего няня не придёт ко мне. Он ответил, что, если я помню её адрес, он напишет ей, чтобы она приехала.

— Как же я могу не помнить адреса няни? — возмущённо сказал я. — Это всё равно как если бы я забыл адрес своей матери.

И я тут же продиктовал ему адрес няни, прося, чтобы завтра же она меня навестила. Он засмеялся и сказал, что, если достанет ковёр-самолёт, непременно слетает за ней сам. И здесь я опять ничего не понял.

Прошла ещё неделя; меня навещал несколько раз вельможа-доктор и позволил встать. Это была сушая комедия, когда я с помощью Ананды попробовал первый раз встать. Роста для своих 15 лет я был очень большого; а за время болезни я так вырос, что поразил даже доктора.

— Можно ли так быстро расти, дружок? — сказал он мне, смеясь. — Если ты будешь продолжать в таком же духе, тебя никто, даже няня, не узнает.

На этот раз я всё же отдал себе отчёт, что времени прошло довольно много, а няни всё нет и мама всё прячется. Я посмотрел на доктора. Но он, как бы не замечая моего молящего взгляда, помог мне надеть халат, и оба они с Анандой довели меня до окна, где стояло высокое кресло с подножкой; так что, сидя в нём, я мог любоваться открывавшимся из окна видом.

Я смотрел неотрывно вперёд, на видневшееся вдали море; смотрел на сад, спускавшийся к морю, не узнавая ландшафта, и не мог ничего понять. Я спросил доктора, почему я здесь живу? Ведь мой дом в долине у самого моря, а здесь, высоко на горе, я никогда не был и не знаю этого места.

Лицо доктора было очень серьёзно, хотя и очень спокойно. Он взял мою руку, держа её, как считают пульс, но я был уверен, что он только хотел передать мне часть своей энергии и бодрости.

— Если ты хочешь видеть няню, — тихо сказал он, поглаживая свободной рукой мои волосы, — я могу её позвать. Но я хотел тебе сказать, мой

мальчик, что ты уже почти мужчина, а няня твоя слаба и стара. Ей, вероятно, придётся сообщить тебе кое-что неприятное. Старайся быть спокойным; думай, как бы облегчить ей эту трудную минуту. Забудь о своём горе, если оно тебя поразит; старайся только не допустить себя до слёз, чтобы старушка видела, что она вырастила мужчину, а не бабу в штанах.

Он повернулся к двери и сказал по-итальянски кому-то, чтобы привели мою няню. Затем снова приняв прежнее положение, стал ласково гладить мои волосы, тихо говоря:

— Всё движется в жизни, мой мальчик. В жизни человека не может быть ни мгновения остановки. Двигаясь по своим делам и встречам, человек растёт и меняется непрерывно. Всё, что носит в себе сознание как логическую мысль, всё меняется, расширяясь в мудрости. Если же человек не умеет принимать мудро изменяющихся обстоятельств, не умеет стать для них направляющей силой, — они его задавят, как мороз подавляет жизнь грибов, как сушь уничтожает жизнь плесени. И, конечно, тот человек, кто не умеет — сам изменяясь — понести легко и просто на своих плечах новые обстоятельства, будет равен грибу или плесени, а не блеску закаляющейся и растущей в борьбе творческой мысли.

Я слушал и вбирал жадно каждое его слово, не спуская с него глаз. Добрейшее лицо его и мягко гладившая мои волосы рука точно передавали мне любовь и мужество. Я вдруг осознал, что возле меня стоит друг, такой величавый друг, рука которого не только опора для меня в эту минуту, но крепость её такова, что вся жизнь моя не может отягчить потока любви, который горит в этом человеке.

Какое-то почти благоговейное живительное чувство радости, благодарности, не испытанной ещё мною, уверенности и мужества наполнили меня. Я поднёс к губам нежно гладившую меня руку, поцеловал её и ответил ему:

— Я буду стараться быть всегда мужественным. О, как бы я хотел быть таким, как вы, добрым, умным и сильным. Как подле вас мне чудно хорошо. Я точно вырос и весь переменялся.

Он обнял меня, прижал к себе, поцеловал в лоб и сказал:

— Будь же мужествен сейчас. Как перенесёшь ты встречу с няней, точно так начнёшь и свою новую жизнь.

С этими словами он меня покинул, и через минуту в комнату вошла моя няня.

Она вообще была старенькая, но сейчас я увидел перед собою совершенную руину. Но насколько поразила её внешность меня, настолько же, вероятно, перемена во мне ужаснула её. Не успела она подойти ко мне, как всплеснула руками, закричала, заплакала, встала на колени на подножку мо-

его кресла, схватила мои руки и так зарыдала, что мужество в моём сердце стало таять, как воск.

Хотя я и вырос в стране, где природная эмоциональность людей легко обнажалась в криках и жестах, хотя я с детства знал чисто итальянскую, особенно характерную, экзальтированность моей няни, вспыхивавшую, как спичка, сразу до яркого огня и так же мгновенно потухавшую, но на этот раз в её рыданиях было столько горечи и отчаяния, что я не мог найти слов, чтобы её утешить. Среди её причитаний я мог разобрать как припев: «Мой несчастный мальчик! Мой дорогой сиротка, у тебя нет даже родины».

Какое-то смутное воспоминание начинало меня давить. Мысли, как тяжёлые жернова, ворочались трудно и обрели весомость. Я до сих пор помню ощущение в голове, необыкновенно странное, какого я больше в жизни не знавал. Мне казалось, что я ощущаю, как в моих мозговых полушариях происходит какое-то чисто физическое движение, которое я и принял за тяжело шевелящиеся мысли. Должно быть, вся кровь прилила к голове; я почувствовал острую боль в сердце, как укол длинной иглы, и вдруг, сразу, точно в свете мелькнувшей молнии, вспомнил всё. Не знаю, потерял ли я сознание в эту минуту, но отчётливо понял, что все картины пережитого, одну за другой, я ясно и точно увидел...

Когда я смог соображать, я увидел возле себя Ананду и только теперь понял, что это он шептал мне в трюме парохода: «Я спасу тебя, мой мальчик».

Ананда глядел на меня сосредоточенно и подал мне какое-то питьё. Я выпил и сказал ему:

— Благодарю вас. Благодарю за жизнь, которую вы мне спасли. Нет, не надо, — я отвёл его руку с новым лекарством, — и теперь уже не лекарство может вылечить меня, а тот пример любви и заботы о чужом, брошенном человеке, который я здесь нашёл.

Не понимаю, каким образом я всё забыл. Я только тогда всё вспомнил, когда голос няни и её причитанья вернули меня в детство. И когда я услышал, что у меня нет даже родины, — я вспомнил всё сразу. Я не мог ещё долгое время собраться с силами; дыханье моё стало так тяжело, точно мои лёгкие сдавил приступ астмы. Ананда уговорил меня выпить каких-то капель, положил на блюдечко пучок жёлтой сухой травы и поджёг её. Вскоре она задымилась, распространяя сильный аромат, и мне стало лучше.

— Где я сейчас? Это ваш дом? — спросил я Ананду.

— Это Сицилия, — ответил он мне. — Вы здесь в полной безопасности. Это дом доктора. На вашей родине резня восставших друг на друга партий ещё не прекратилась, и бедствия продолжают сыпаться на головы ни в чём не повинных людей. Фанатики-политики режут не только друг друга, но даже иностранцев, что грозит войной всей вашей стране. Всё это очень

подробно вы узнаете из газет, которые я для вас сохранил. Вы больны уже больше двух месяцев. И весь первый месяц мой дядя каждый день опасался, что ему не удастся вырвать вас из рук смерти. Только на второй месяц вашей болезни он сказал мне, что вы в безопасности. А за две недели он точно определил день, в который к вам вернётся сознание. Одно время он опасался, что сознание не вернётся к вам в полноценном виде. И потеря памяти могла вообще распространиться на весь ход вашего мышления. Свидание с няней он считал моментом перелома, как оно и случилось на самом деле.

Далее он рассказал мне подробно, как я был перенесён в их каюту на пароходе, как они оба с дядей дежурили по очереди у моей постели и как в беспмятстве и бреде я рассказывал им много раз всю свою историю, вплоть до посадки на пароход. Он спросил, не помню ли я, каким образом попал в трюм. Я не помнил или, может быть, даже не понимал, где этот трюм. Но помнил, что искал место, где бы спрятаться от людей и выплакать своё горе.

— Дальше история моя сложилась просто, — продолжал Иллофиллон. — Не буду вам рассказывать, сколько раз в моём сердце чередовались бури отчаяния, негодования и безысходного горя. Сколько раз я терзал сердца моих благодетелей и няни своими бурными рыданиями. Скажу только, что каждый из приступов моего горя или раздражения не вызывал ни негодования, ни упреков моих новых друзей. Постепенно атмосфера постоянной ласки и высокой культурности стала вводить и меня в колею выдержки. Я понял, увидел наглядно, как я невежествен и как неделикатно себя веду, нарушая гармоничный ритм жизни моих спасителей, заполненной целиком научной работой доктора и диссертацией, которую тогда писал Ананда. Я уже мог выходить из дома, бродил по саду, даже спускался к морю. Но читать доктор мне не позволял, сказав, что, если хоть одна неделя пройдёт без слёз, — он разрешит мне читать. Желанье начать читать и учиться было так велико, что я сумел сохранить равновесие и ни разу не обнаружил своего горя, доверяя его только подушке по ночам.

Однажды в праздничный день доктор велел заложить коляску, и мы поехали с ним прокатиться, чтобы я мог полюбоваться красотами Сицилии. Природа казалась мне волшебной сказкой. По дороге доктор спросил меня, хорошо ли я знаю историю своей родины. К стыду своему, я должен был признаться, что совсем не знаю. По возвращении с прогулки доктор провёл меня в свой кабинет, где было так много книг, что я даже сел от изумления. Не только стены были ими заставлены, но через всю комнату шли ряды высоких, до потолка стеллажей с книгами, образуя узкие коридоры, в каждом из которых стояла передвижная лесенка. Доктор вошёл в один из книжных коридоров и достал мне историю Древней Греции на немецком языке.

С этого дня началось моё обучение. Каждый из моих новых друзей находил возможность отрываться от своих дел, чтобы заниматься со мной. Я старался изо всех сил, так что моей старушке няне приходилось жаловаться на своё одиночество; и только это заставляло меня бросать книги и уроки и идти с ней к морю. Я обнаружил способности к математике, и мне дали шутовское прозвище Эвклид. Так меня и звали мои наставники, одна няня называла меня Лоллионом.

Шесть месяцев труда и спокойной жизни вылечили меня полностью. Вырос я ещё больше, но оставался всё таким же худым, и горе моё всё так же разьедало моё сердце. Однажды за обедом доктор сказал, что через неделю ему надо ехать в Рим, там пробыть месяц, а затем отправиться в Берлин по целому ряду дел.

— Не хочешь ли поехать со мной в качестве секретаря? — обратился он ко мне.

Я нерешительно посмотрел на Ананду, тот ласково мне улыбнулся, но молчал.

— Что тебе мешает? — снова спросил меня доктор. — Неужели тебе не хочется увидеть мир, о котором ты столько читаешь в последнее время?

— Мне очень хочется увидеть мир, особенно Рим. Кроме того, я был бы счастлив быть вам полезным и чем-нибудь отплатить за всё то, что вы сделали для меня. Но я боюсь, что не сумею быть таким секретарём, какой вам нужен. Я всё же постараюсь быть слугою честным и усердным. И ещё меня смущает, — продолжал я, — как перенесёт разлуку няня? Кроме меня, у неё нет никого.

— У неё есть сын в Риме. Мы её туда отвезём. Когда будем возвращаться, ты уже научишься разбираться в поездках и маршрутах, заедешь за ней в Рим и привезёшь сюда. Решайся. Тем более что тебе придётся когда-то вступить в самостоятельную жизнь и получить систематическое образование. Во время нашей поездки ты сможешь выбрать по вкусу место, где будешь учиться; а о далёком будущем не стоит думать.

Чтобы закончить в коротких словах мою — отныне счастливую — историю жизни, прибавлю, что через несколько дней мы выехали с доктором и няней в Рим, где оставили её у сына. Вы сами понимаете, что я переживал, знакомясь с этим городом, с его памятниками, галереями, музеями и так далее. Тысячи раз я благословлял няню за своё знание итальянского языка, носясь по городу и исполняя поручения доктора. Мы проездили, кочуя по разным местам, не два месяца, а целых полгода. Чтобы продолжать занятия регулярно, я достал себе программу берлинских гимназий и, вставая ежедневно в шесть часов утра, готовился сдать экзамены за семь классов.

Однажды я поделился своей идеей с доктором. Он проверил мои знания, остался ими доволен и посоветовал вернуться домой. Там я должен был подзяться с Анандой и сразу сдать экзамены на аттестат зрелости в Гейдельберге, где Ананда будет защищать диссертацию и проживёт не менее года. Я с благодарностью принял это предложение. Мы побывали ещё и в Вене по делам доктора и там расстались. Я направился через Венецию в Рим, а он в своё имение в Венгрии, сказав, что будет жить там год или два и мы с Анандой и няней приедем туда на летние каникулы.

С тех пор так и шла моя жизнь. Я много учился и немало повидал: путешествовал по Египту и Индии, видел разных мудрецов и учёных, артистов и художников, но выше доктора не встретил никого. Случайно его поручение свело меня с Али и Флорентийцем, в которых я увидел силу, знания, доброту и честь, не уступавшие тем, какими обладал мой великий друг-доктор. Тесная дружба, связывавшая их между собою, была раскрыта и мне с Анандой. Теперь я уже подхожу к тому периоду дружбы с Али, когда я приехал гостить к нему в К. и познакомился с вашим братом. Вы, конечно, лучше меня знаете своего брата. Я же могу сказать, что сила его духа, воля, любовь к человеку, огромный ум и знания ставят этого офицера-самоучку, прожившего свою жизнь в захолустье, выше почти всех тех, кого я встречал в жизни, и почти наравне с теми моими великими друзьями, о которых я вам рассказывал. Не стесняйтесь же меня. Я перенёс страдания; я знаю бездну человеческого горя; и моё сердце, сгоревшее однажды в скорби, неспособно осуждать встретившегося или тяготиться его горем и слезами. Я научился видеть в человеке брата.

Долго длилась ещё наша беседа; мы пропустили завтрак, и сейчас нас уже звали обедать. Я позабыл о себе, о своей жизни. Образный рассказ Иллофиллиона — он словно резцом высекал свои истории, так чётки были его слова и мысли, — увлёк меня в водоворот жизни другого мальчика, гораздо более несчастного, чем я.

Иллофиллион предложил мне умыться и пойти обедать. Я не возражал, понимая, что легче всего будет нам обоим сейчас в молчании посидеть за едой. Когда мы вернулись в свой вагон, то нашли Ананду и Флорентийца беседующими в коридоре с кем-то из пассажиров.

Я так обрадовался Флорентийцу, будто целый год его не видел. Ещё раз понял я, как целно, всем пылом одинокого сердца я привязался к нему за это короткое время. Он радостно протянул мне обе руки, которые я сжал в своих.

— Как я соскучился без вас, — смеясь, сказал я ему.

— А я-то думал угодить тебе, так как не научился ещё спать в твоём вкусе, — ответил он мне, тоже смеясь. — Но не очень-то ты любезен по от-

ношению к Иллофиллиону, — продолжал он, всё ещё смеясь. — Я надеюсь, Эвклид, ты не замучил моего братишку математикой?

— Нет-нет, ваш друг Иллофиллион так помог мне своей беседой, что я теперь стал умней сразу на 20 лет! — воскликнул я.

Все засмеялись. Флорентиец, обняв меня за плечи, состроил преуморительную гримасу лорда Бенедикта и спросил:

— Неужели же в моём обществе ты стоял на месте или вовсе поглупел?

Я снова почувствовал, как надо следить за каждым словом, вздохнул и, не зная, что ответить, перевёл глаза на Иллофиллиона. Тот сейчас же сказал Флорентийцу, что всем известен его неподражаемый флорентийский талант ловить людей на слове. Но что он, Эвклид, недаром сильнее его как математик и уж однажды как-нибудь поймает самого Флорентийца ещё тоньше, чем он меня сейчас.

Я предложил Флорентийцу устроить для него обед в купе, на что особенно весело отозвался проголодавшийся Ананда. И я отправился к проводнику проявлять свой организаторский талант. Вскоре в купе была подана лучшая вегетарианская еда, какая только нашлась в поезде. И мы с Иллофиллионом — только что отобедавшие — тоже приняли в ней некоторое участие.

Нам оставалось ехать до Москвы только одну ночь, и рано утром я мог надеяться увидеть брата. Я так унёсся мыслями к предстоящему свиданию, столь живо представил себе, как теперь по-новому буду смотреть на него, что перестал замечать и слышать что бы то ни было вокруг.

Внезапно что-то мокрое заставило меня вздрогнуть. Это Флорентиец намочил кусок салфетки в воде и положил мне на руки. Я опомнился, поднял глаза и даже оторопел. Три пары совершенно разных глаз одинаково пристально смотрели на меня. Я так смешался, когда все засмеялись, что покраснел до корней волос, пришёл в раздражение и чуть было не рассердился. Но смех друзей был так добродушен, и, должно быть, размечтавшись, я представлял собой занятную картинку, а потому и сам расхохотался, вспомнив, что ведь я же «Лёвушка — лови ворон».

— Грёзы о Москве, Лёвушка, — сказал Флорентиец, — дело законное и очень нужное. Но тебе следует настроить себя таким образом, чтобы не личное счастье от свиданья с братом было для тебя целью, а твоя помощь ему.

Опять меня удивило, что он прочёл мои мысли. Когда я сказал, что поражен его способностью отвечать на невысказанные мысли, он уверил, что в этом так же мало чуда, как в его ночной беседе с проводником. И рассказал мне, что жена проводника жива, что в Самаре тот получил ответ на свою телеграмму. Я почувствовал, как поверхностен мой интерес к людям

по сравнению с тем глубоким вниманием к ним, которое отличает Флорентийца. Я ведь и думать забыл о проводнике и его горестях.

Между тремя моими новыми знакомыми завязался разговор о предстоящих действиях в Москве. Флорентиец не сомневался, что наше пребывание там будет осложнено фанатиками из К., что все свои усилия они направят на то, чтобы поймать меня и допытаться, где мой брат и была ли похищена им Наль. По его словам, легенде о сгоревших в доме брата людях преследователи или не поверят, или даже сами сожгли кого-нибудь из мести, воспользовавшись удобным случаем. Поэтому он предложил остановиться в одной из гостиниц всем вместе. Мы с Флорентийцем займём один номер, а рядом поселятся Ананда и Эвклид. Он настрого запретил мне выходить куда-нибудь одному и в гостинице держаться только с кем-либо из них троих. Я не совсем понимал, каким образом мне могут грозить беды, но обещал исполнить всё в точности.

Время прошло незаметно. Иллофиллион рассказывал эпизоды из своих путешествий по Индии; Ананда поведал о страшной ночи в С., где ему удалось спасти женщину, приговорённую фанатиками к избиению камнями.

Настала ночь. Я лёг раньше всех, чувствуя полное изнеможение от массы новых впечатлений и мыслей. Проснулся я, расталкиваемый Флорентийцем, и услышал фразу, невероятно меня поразившую, потому что мне казалось, что я спал не более часа:

— Подъезжаем к Москве.

ГЛАВА 8

ЕЩЁ ОДНО ГОРЬКОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ И ОТЪЕЗД ИЗ МОСКВЫ

Как только мы вышли из вагона, целая орда служащих всевозможных гостиниц — в куртках или ливреях, в кепи или шапках, с обозначением названия своих заведений — стала зазывать нас, предлагая кареты, коляски и т. д. Впереди шёл Ананда, как бы высматривая кого-то; посередине шли мы с Флорентийцем, сзади Иллофиллион. Завершалось наше шествие носильщиками с чемоданами.

Зычные выкрики названий гостиниц, торг пассажиров со стайей извозчиков в длинных синих поддёрках, с кнутами в руках, накидывавшихся десятками на одного пассажира, — всё это было так забавно, что я снова забыл обо всём, увлёкся наблюдениями и готов был, смеясь, остановиться. Флорентиец слегка подтолкнул меня, я перестал таращить глаза по сторонам и увидел, что из толпы гостиничных слуг отделился один, с надписью на кепи «Националь», и приветствовал Ананду, весьма почтительно держа руку у козырька. Через несколько минут мы уселись в отличное ландо и покатали в центр города.

Я давно не видел Москвы, и по сравнению с Петербургом она показалась мне грязным, провинциальным городом с незначительным движением. Улицы, по которым мы ехали — узкие, искривлённые, с низенькими домами, часто деревянными, со множеством церквей, церквушек и часовен, с перезвоном колоколов, нёшимся со всех сторон, — производили впечатление патриархальности. Глядя на эти церкви, я невольно подумал, что русский народ, должно быть, очень религиозен. Я спрашивал себя, могут ли русские дойти до глубокого фанатизма, подобно магометанам, которые слишком рьяно служат своему Богу. Я стал думать о себе самом: что для меня Бог и как живу я с Ним и в Нём? Мешает ли мне моя религия или помогает?

Посещая церковь раз в неделю со всей гимназией, я видел в этом лишь развлечение в нашей монотонной жизни; и ни разу не пробовал искать в Боге облегчение, не докучал Ему своими жалобами, а стоял в церкви и просто наблюдал.

Мы ехали молча, изредка перекидываясь незначительными замечаниями; но я инстинктивно чувствовал, что всех тревожит мысль о судьбе моего брата и Наль. Войдя в вестибюль гостиницы, мы взяли номера, как условились раньше. Флорентиец спросил, нет ли почты на имя лорда Бенедикта, и — к моему удивлению — очень важный и осанистый портье подал ему две телеграммы и два письма.

— Письма ждут вашу светлость уже два дня; а телеграммы — одна ночная, другая сию минуту подана, — почтительно прибавил он.

Водворившись в номере, я едва дождался, пока коридорный перестанет возиться с нашими вещами и выйдет. Я бросился к Флорентийцу, спрашивая, не от брата ли письмо, мне показалось, что я узнал его почерк на одном из конвертов. Он, улыбаясь, подивился, что я — всегда такой рассеянный — смог издали узнать почерк того, кого люблю. Видя моё нетерпение, он взял письмо брата, подал его мне и сказал:

— Когда Али говорил с тобой в саду, он предупредил тебя, что жизнь брата, твоя и Наль зависят от твоего мужества, выдержки и верности. Читая теперь письмо, думай не о себе, а только о том, как ты можешь ему помочь.

Сердце моё сжалось. Предчувствие подсказало, что сегодня я брата не увижу, а я так на это надеялся. Я прочёл письмо, ещё раз перечитал его и всё никак не мог собраться с мыслями и прийти к какому-либо выводу. Брат писал, что уехать из К. им удалось незамеченными; слуги были переодеты восточными женщинами, Наль ехала в европейском костюме, который приготовил ей Али, а сам брат был в штатской одежде. Причём все они сели в разные вагоны и только в Москве, переодевшись в дороге ещё раз, сошлись все вместе. В Москве вся компания благополучно пересела в петербургский поезд, поскольку друзья предупредили их, что пароход в Лондон отходит в воскресенье; поэтому времени на остановку и свидание в Москве не оставалось.

Николай писал, что посылает мне свою любовь и просит простить его за беспокойства и огорчения, которые он доставил мне вместо отдыха. Он просил Флорентийца не оставлять меня, если я не поспею на тот же пароход. «Поспею на пароход», — несколько раз печально и горько повторял я мысленно.

— Воскресенье — это сегодня, — наконец сказал я Флорентийцу. Против моей воли я таким тоном выговорил эту фразу, точно вернулся с похорон и объявлял ему об этом.

— Да, это сегодня. Им удалось проскочить благодаря тому, что друзья Ананды и Али отвлекли внимание главарей-фанатиков и пустили погоню по ложному следу, — ответил он. — Но вот письмо Али и две его телеграммы. За нами следом идёт погоня. Мулла и главари решили, что ты, конечно же, последуешь за братом. И по твоим следам велено отыскать его, пусть даже на краю света. Если же будет возможность, захватить тебя и, рассчитывая на твою молодость, запугать всяческими угрозами и вызнать всё, что им нужно.

— Значит, будь такая возможность, — я всё равно не смог бы поехать с Николаем. В таком случае не стоит об этом и думать, — сказал я, стараясь стряхнуть с себя все иные мысли, кроме мысли о жизни и безопасности брата. — Что же теперь мы, а в частности я, будем делать? С вами мне всюду хорошо. Теперь вся жизнь моя в вас одном, вы спасёте брата, я в этом уверен. Располагайте мною так, как найдёте нужным для дела. Повторяю, сейчас для меня в жизни — вы всё.

— Ты — настоящий брат-сын своего брата-отца. Поверь, за эту минуту героизма ты будешь вознаграждён большим счастьем. Кто умеет действовать, забывая о себе, тот побеждает, — ответил мне Флорентиец, ласково меня обняв. — Али предупредил в письме, что сообщит дополнительно, будет ли за нами погоня. Первая телеграмма подтверждает это, во второй говорится, кто идёт по нашему следу. Это два молодых купца, которые едут в Москву будто бы за товаром; один, помимо своего родного языка, говорит по-русски; другой знает немецкий и английский. Али пишет, что оба они — приятели жениха Наль. Можно представить, что они намереваются делать и как. Вещи, переданные тебе для Наль, — это не обиходные вещи, их надо непременно переправить ей, и как можно скорее. Предлагаю тебе вот какой план. Вещи Наль я отвезу сам; сегодня же сяду в курьерский поезд, идущий в Париж, оттуда проеду в Лондон и буду там раньше их. Тебе же следует немедленно, уже через два часа, вместе с Эвклидом выехать в Севастополь, а оттуда морем добраться до Константинополя и дальше пробираться в Индию, в имение Али. Ананде собираюсь предложить оставаться здесь целый месяц под предлогом дел, держать связь со всеми нами и наблюдать за действиями врагов. Я буду полезен и даже нужен твоему брату и Наль, которые могут оказаться беспомощными без опытного друга в первое время, в совершенно новых для них условиях. Да и в смерти брата твоего надо всех уверить, чтобы раз и навсегда покончить с преследованием. Через три-четыре месяца и я приеду в Индию. Я думаю устроить наших беглецов в Париже, когда всё образуется.

Я молча слушал. Не то чтобы во мне всё окаменело. Нет, я переживал нечто похожее на то, что должны ощущать люди, когда внезапно умирают их любимые. Я точно стоял у глубокой могилы и видел в ней гроб.

Я машинально встал, открыл чемодан, где находились вещи Наль, и стал вынимать оттуда свои, каждая из них резала меня точно ножом.

— Вы, вероятно, не захотите нарушать порядок, в каком были уложены вещи. Вот эти деньги мне подарил Али-молодой. Они мне не нужны, так как для той далёкой поездки, в которую вы меня посылаете, они не годятся, да и мало их. Пусть это будет мой подарок брату. Купите в Париже прекрасный футляр в виде золотой или серебряной коробки, на какую хватит денег, и вложите в неё вот эту записную книжку его, которую я так непростительно забыл в доме Али, — говорил я Флорентийцу, подавая ему чудесную книжку брата с павлином. — Я готов. Но разрешите мне сопровождать Иллофиллиона в качестве его слуги, чтобы я мог сам зарабатывать тот кусок хлеба, который до сегодняшнего дня получал из рук моего брата, — продолжал я.

— Мой милый мальчик, — сказал мне на это Флорентиец, — когда ты приедешь в Индию, ты станешь учиться. Ты многое узнаешь и поймёшь. Пока же доверься мне. Будь не слугой, а другом Эвклиду. Твой талант к математике и музыке ещё не всё, чем ты обладаешь. Разве ты не чувствуешь в себе писательского дара?

Я покраснел до пота на лице. Я никогда бы не поверил, что самое заветное, от всех сокрытое моё желание — и то он сможет подсмотреть.

Но времени на дальнейшие разговоры не оставалось. Вошли Ананда и Иллофиллион, и Флорентиец поведал им свой новый план. Меня очень удивило, что ни один из них не возразил ни словом; оба приняли его распоряжения как не подлежащие даже обсуждению. Ананда позвонил и велел заказать сейчас же два билета в Севастополь и отвезти двоих человек к поезду; а в номер нам подать завтрак.

— И на вечерний поезд в Париж купите один билет, — прибавил он.

Мы уложили мои вещи во вместительный саквояж Флорентийца, который он мне подарил.

— Там ты найдёшь мой сюрприз, — смеясь, сказал он мне. — Как только почувствуешь могильное настроение, — так и поищи его. Вот последний мой завет тебе: помни, что радость — непобедимая сила, тогда как уныние и отрицание погубят всё, за что бы ты ни взялся.

Тут принесли наш завтрак; явился портье, говоря, что у него остались на руках два билета в Севастополь в международном вагоне, которые он собирался отослать в кассу вокзала в ту минуту, когда пришёл наш заказ. Билеты взяли, вещи отдали слуге; и мы сели завтракать. Через полчаса мы с Иллофиллионом должны были ехать на вокзал.

Как я ни боролся с собой, но есть я ничего не мог, хотя с вечера ничего не ел. Сердце моё разрывалось. Я так привязался к Флорентийцу, что

будто второго брата-отца хоронил, расставаясь с ним сейчас. Все старались сделать вид, что не замечают моей печали. Я думал, — откуда у этих людей столько самоотверженности и самообладания? Почему они так уравновешенны, стремительно идя на помощь чужому им человеку, моему брату; в чём находят они ось своей жизни, основу для своего уверенного спокойствия? И снова пронизала сердце мысль — кто человеку «свой», кто ему «чужой»? Мелькали в памяти слова Флорентийца, что кровь у всех людей одинаково красная и потому все братья, всем следует нести красоту, мир и помощь.

В кружении мыслей я не заметил, как кончился завтрак. Флорентиец погладил меня по голове и сказал:

— Живи, Лёвушка, радуясь, что жив твой брат, что ты сам здоров и можешь мыслить. Мыслетворчество — это единственное счастье людей. Кто вносит творчество в свой обыденный день — тот помогает жить всем людям. Побеждай любя — и ты победишь всё. Не тоскуй обо мне. Я навсегда твой друг и брат. Своей героической любовью к брату ты проложил дорогу не только к моему сердцу, но вот ещё твоих два верных друга, Ананда и Эвклид.

Я поднял глаза на него, но слёз сдержать не смог. Я бросился ему на шею, он поднял меня на руки, как дитя, и шепнул:

— Уроки жизни никому не легки. Но первое правило для тех, кто хочет победить, — на глазах у людей уметь улыбаться беззаботно, даже если в сердце сидит игла. Мы увидимся, а вести обо мне будет посылать тебе Ананда.

Он опустил меня на пол, весело ответив на стук в дверь. Это портье пришёл сообщить, что пора ехать на вокзал.

Мы с Иллофиллионом простились сердечным пожатием рук с Флорентийцем и Анандой, спустились за портье вниз, сели в коляску и двинулись на вокзал. Мы ехали молча, не обменявшись ни словом. Только раз, при досадной задержке из-за какого-то уличного происшествия, Иллофиллион спросил кучера, не опоздаем ли мы на поезд. Тот погнал лошадей, но всё же мы едва успели к отправлению поезда.

ГЛАВА 9

МЫ ЕДЕМ В СЕВАСТОПОЛЬ

Я столько провёл времени в вагоне и чувствовал такое сильное головокружение, что вынужден был лечь. Иллофиллион достал из своего саквояжа пузырёк с каплями, накапал в стакан с водой несколько капель и подал мне, говоря:

— Когда я был болен, Ананда всегда давал мне эти капли.

Я выпил лекарство, мне стало лучше, и я незаметно для себя заснул.

Когда я проснулся, Иллофиллион стоял, смеясь, надо мной и говорил, что уже собирался брызгать мне в лицо водой, так я долго спал, а он умирает от голода. На самом деле было уже семь часов вечера, и надо было поторапливаться. Я быстро привёл себя в порядок, проводник запер наше купе, и мы отправились в вагон-ресторан.

Здесь публика была совсем иная, чем в поезде, шедшем к далёкой окраине Азии. Курьерский поезд по недавно проложенной линии мчал в Севастополь богатую публику, направляющуюся на модные курорты: Ялту, Гурзуф, Алупку и другие. В вагоне-ресторане все уже сидели на своих местах. Лакей, посмотрев наши обеденные билетки, провёл нас к столику, за которым сидели две дамы. Я сконфузился, ведь я совсем не привык к дамскому обществу, но, посмотрев на Иллофиллиона, был очень удивлён, потому что он вёл себя так, как будто всю жизнь только и делал, что ухаживал за дамами. Он снял свою шляпу, вежливо поклонился старшей даме и сказал по-французски:

— Разрешите нам сесть за ваш стол?

Дама приветливо улыбнулась, ответила на поклон и сказала довольно низким приятным голосом: «Прошу вас», на прекрасном французском языке.

Иллофиллион взял наши шляпы, положил их в сетку над столиком и пропустил меня к окну, заняв крайнее место у прохода. Я чувствовал себя

очень неловко, старался смотреть в окно, но всё же исподтишка разглядывал соседку. Старшая дама, далеко ещё не старая, была красиво и элегантно одета. У неё были тёмные волосы; её тёмные глаза, несколько выпуклые, были, вероятно, близоруки. Она была полновата и, судя по её белым холёным рукам, никогда не работала, да и вряд ли играла на рояле, ведь от постоянных ударов по клавишам кончики пальцев расширяются и кожа на них грубеет. Её же руки были просто руками барыни. Лицо её не светилось ни умом, ни вдохновением. Я посмотрел на её зубы и губы, — всё в ней показалось мне банально красивым, но грубой, чисто физической красотой. И она перестала возбуждать во мне какой бы то ни было интерес.

Тут подали мясной суп. Иллофиллион сказал лакею, что заказывал специальный вегетарианский обед. Лакей извинился и отправился за объяснением к метрдотелю. Это недоразумение послужило старшей даме поводом для разговора с Иллофиллионом, который, как мне показалось, произвёл на неё большое впечатление. Пока старшие сотрапезники занимались обсуждением пользы и вреда вегетарианства, я перенёс своё внимание на другую нашу соседку. Это была совсем молоденькая девушка, почти девочка. На вид ей было не более 15 лет. Она была светлой блондинкой, с волосами такого же золотистого оттенка, как у моего брата, и уже одним этим сходством она завоевала мои симпатии. Я невольно поглядывал на неё, пользуясь тем, что она сидела с опущенными глазами. Личико у неё было худое, черты правильные, лоб высокий с бугорками над бровями. «Очень музыкальна», — подумал я.

Девушка, должно быть, в первый раз обедала в вагоне-ресторане. Она прилагала все усилия, чтобы не расплескать суп с ложки, но это ей удавалось плохо. Заметив, что я бестактно уставился на девушку, Иллофиллион задал мне какой-то вопрос, желая вовлечь меня в общий разговор и освободить от моих взглядов и без того сконфуженную соседку. Он выразительно на меня посмотрел, и я понял, что в моём поведении что-то не соответствовало поведению хорошо воспитанного человека. Оказалось, старшая дама просила меня передать ей горчицу, а я не слышал её слов. Иллофиллион повторил просьбу, я совсем сконфузился, подал ей горчицу, извинился на французском же языке, вспомнив одно из наставлений брата, что хорошо воспитанные люди должны отвечать на том же языке, на каком к ним обратились.

Сумбурные мысли о том, как трудно быть хорошо воспитанным человеком, сколько для этого надо знать условностей и в них ли сила хорошего воспитания, промчались не в первый раз в моей голове. Иллофиллион извинился за мою рассеянность, говоря, что я перенёс тяжёлую болезнь и ещё не

успел окончательно поправиться. Дама сочувственно кивала головой, приняв меня за сына Иллофиллиона, чему я посмеялся, а Иллофиллион объяснил, что я ему друг и дальний родственник.

Я хотел спросить, не дочь ли ей молоденькая барышня, но в это время она сама сказала, что везёт свою племянницу в Гурзуф, где у её сестры, матери Лизы, дача возле самого моря. Лиза всё молчала и не поднимала глаз; а тётка рассказывала, что Лиза только что окончила гимназию, очень утомлена экзаменами и должна отдохнуть в тишине.

— Лиза у нас талант, — продолжала она, — у неё огромные способности к музыке и очень хороший голос. Она учится у лучших профессоров Москвы; но отец её против профессионального музыкального образования, что и составляет Лизину драму.

Тут произошло нечто необычайное. Лиза вдруг внезапно подняла глаза, оглядела всех нас и твёрдо посмотрела на Иллофиллиона.

— Вы не верьте ни одному слову моей тётки. Она ни в чём не отдаёт себе отчёта и готова выболтать каждому встречному всю подноготную, — сказала она дрожащим тихим, но таким певучим и металлическим голосом, что я сразу понял, что она, должно быть, чудесно поёт.

На щеках Лизы горели пятна, в глазах стояли слёзы. Она, видимо, ненавидела тётку и страдала от её характера. Иллофиллион мгновенно налил капель в воду из своего пузырька и подал ей, сказав почти шёпотом, но так повелительно, что девушка мгновенно повиновалась:

— Выпейте, это сейчас же вас успокоит.

Через несколько минут девушка действительно успокоилась. Красные пятна на щеках исчезли, она улыбнулась мне и спросила, куда я еду. Я ответил, что еду пока в Севастополь, какой маршрут будет дальше, ещё не знаю. Лиза удивилась и сказала, что думала, что мы едем в Феодосию или Алушту, ибо греки большей частью живут там.

— Греки? — спросил я с невероятным изумлением. — При чём же здесь греки?

Лиза, в свою очередь, широко раскрыла свои большие серые глаза и сказала, что ведь мой родственник такой типичный грек, что с него можно лепить греческую статую. Мы с Иллофиллионом весело рассмеялись, а тётка, кисло усмехаясь, сказала, что Лиза, как и все музыкально одарённые люди, неуравновешенна и слишком большая фантазёрка. Иллофиллион стал спорить с нею, доказывая, что люди одарённые вовсе не нервноболезные, а наоборот, они только тогда и могут творить, когда найдут в себе столько мужества и верности любимому искусству, что забывают о себе, о своих нервах и личном тщеславии, а в полном спокойствии и самообладании радостно несут свой талант окружающим. Тётка заявила, что для неё это слишком

высокие материи, а Лиза вся превратилась в слух, глаза её загорелись, и она сказала Иллофиллиону:

— Как я много поняла сейчас из ваших слов. Я точно сама себе всё это не раз говорила, так мне ясны и близки ваши слова.

Видно было, что ей о многом хотелось спросить, чего нельзя было сказать о тётке. Такая любезная и кокетливо поглядывавшая на Иллофиллиона в начале обеда, — сейчас она едва скрывала скуку и досаду.

— Вот вам бы с моей сестрой познакомиться. Она вечно летает в заоблачных высотах и, кроме своих цветов, музыки и книг, ничего в жизни не видит и не замечает. Даже того, что делается под самым её носом, — несколько тише и более ядовито прибавила она.

Лицо её отвратительно исказилось от зависти и ревности, очевидно уже давно разъедавших её сердце. Лицо Лизы стало так бледно, что побелели даже её розовые губы. Я испугался и быстро протянул ей стакан с водой. Но она не заметила моего движения; её потемневшие глаза сразу провалились, под ними легли тёмные тени, и от девушки-ребёнка не осталось и следа. Глядя прямо в глаза тётке ненавидящим взглядом, она сказала тихо и раздельно:

— Можно делать подлости, если есть вкус к ним. Можно быть и глупым, раз уж в мозгу чего-то недостаёт; но чтобы так выдавать себя первому встречному, — для этого надо быть более чем просто глупой. Вы отравили маме её молодость, а мне — детство. Вы всю жизнь пытались встать между папой и нами. Вам это не удалось, потому что папа честный человек и любит нас с мамой. Неужели же мамину и мою деликатность и сострадание к вам вы принимали за нашу близорукость или глупость? Я бы и сейчас промолчала, если бы ваша наглость не была так возмутительна.

Трудно передать, что произошло с тёткой. От всей её чувственной красоты, от внешнего барского лоска ничего не осталось. Перед нами сидела вмиг постаревшая женщина, не умевшая сдерживать бешенства и тихо выплёвывавшая ругательства:

— Девчонка, дура, подлая шпионка, дрянь, — я тебе отплачу. Я всё расскажу делушке и отцу.

Девушка с мольбой взглянула на Иллофиллиона. На наш стол, несмотря на грохот колёс и шум вентиляторов, кое-кто уже стал обращать внимание. Иллофиллион подозвал лакея, заплатил за всех и за всех же отказался от кофе. Он встал, достал наши шляпы и, твёрдо взглянув на тётку, сказал ей очень тихо, но повелительно:

— Встаньте, дайте пройти вашей племяннице. Поезд сейчас остановится, мы пройдем с ней по перрону. Вы же ступайте в ваше купе через вагоны. Придите в себя, вы потеряли всякий человеческий облик. Постарайтесь скрыть под улыбкой своё бешенство.

Говоря так, он стоял, склонившись к ней в вежливой позе, подавая упавшие сумочку и перчатки. Ни слова не говоря, она встала и прошла мимо столиков к выходу, не дожидаясь нас.

Иллофиллион помог Лизе выйти из-за тесно поставленных стульев, прошёл вперёд, открыл дверь и пропустил вперёд девушку. Выйдя вслед за ними из вагона, я немного отстал; мне хотелось побыть одному, чтобы разобраться в этой чужой жизни, завеса которой приподнялась передо мной так внезапно и безобразно. Но Иллофиллион остановился, подождал, пока я подойду, и сказал мне:

— Не отставайте от меня ни на шаг, друг. Какие бы драмы или приятные развлечения ни встретились нам в пути, мы не должны забывать нашей главной цели.

Он взял меня под руку, и мы втроём стали прогуливаться по платформе, войдя в вагон уже после второго звонка. Каково же было моё удивление, когда я увидел, что тётка Лизы стоит в коридоре нашего вагона и весело флиртует с каким-то не особенно старым генералом. Оказалось, что купе наших соседок по столу было через два отделения от нас.

Как ни в чём не бывало тётка обратилась к нам, сказав, что уже стала беспокоиться, не похитили ли мы её племянницу. Иллофиллион, в тон ей, отвечал, что ни он, ни я на людей, занимающихся романтическими похождениями, как будто бы не похожи, но что мы очень польщены, конечно, если, по её мнению, имеем вид донжуанов. Очень корректно раскланявшись с соседкой по столу и её племянницей — причём я тоже старался шегольнуть элегантностью манер, — мы вошли в своё купе. Иллофиллион сказал Лизе, что книгу, которую он ей обещал, пришлёт с проводником.

Бедной девушке, очевидно, было жутко расставаться с нами. Её личико, и без того худое, ещё больше осунулось. Когда мы остались одни, я хотел было поговорить о наших новых знакомых, но Иллофиллион сказал мне:

— Не стоит сейчас об этом. Нам с тобой, повывавшим в жизни немало скорби, надо хорошенько думать о каждом своём слове. Нет таких слов, которые может безнаказанно выбрасывать в мир человек. Вся жизнь — вечное движение; и это движение творят мысли человека. Слово — не простое сочетание букв. Даже если человек не знает ничего о тех силах, что носят в себе, и не думает, какие вулканы страстей и зла можно сотворить и пробудить неосторожно брошенным словом, — даже тогда нет безнаказанно брошенных в мир слов. Берегись пересудов не только на словах; но даже в мыслях старайся всегда найти оправдание людям и пролить в их душу мир, хотя бы на одну ту минуту, когда ты с ними. Подумаем лучше, что сейчас делают наши друзья. Флорентиец, по всей вероятности, садится в поезд, идущий в Париж, а Ананда его провожает.

Иллофиллион точно унёсся в далёкую Москву, и взгляд его стал отсутствующим. Сам он, опершись головой о спинку дивана, сидел неподвижно; и я подумал, что у каждого человека, очевидно, своя манера спать, а я как-то не присматривался до сих пор к тому, как спят люди. Флорентиец спал, точно мёртвый, Иллофиллион спал сидя, с открытыми глазами, но сон его был так же крепок, как сон Флорентийца. Думая, что будить Иллофиллиона и нельзя, и бесполезно, я тоже перенёсся мыслями в Москву.

Теперь, расставшись впервые за эти дни с Флорентийцем, к которому я так привязался всем сердцем, я почувствовал всю глубину удара, который нанесла мне жизнь этой разлукой. С самого рождения и до разлуки с братом я видел на своём пути один свет, один родной дом, одного неизменного друга: брата Николая. Теперь я разлучён с братом, — погас мой свет, рухнул мой дом, исчез мой друг. Рядом с Флорентийцем, несмотря на все тревоги, полное отсутствие какого-либо дома, непрерывные опасности и неутрахающие страдания о брате, я чувствовал и сознавал, что в нём для меня — и свет, и дом, и друг. Чувство полной защищённости, мира в сердце, даже когда я плакал или раздражался, не покидало меня где-то в глубине. Я был уверен, каждую минуту уверен, что в лице Флорентийца я не только имею «дом», но что в этом доме смогу жить, учась и совершенствуясь, чтобы стать достойным своего друга.

Сейчас, думая о том, что Флорентиец уезжает в Париж, а я еду на Восток, — пусть в другие места, но всё же на тот Восток, знакомство с которым мне принесло так много горя, — я осознал, как я бездомен, одинок и брошен судьбою в вихрь страстей. Я могу быть лишь игрушкой обстоятельств, потому что не только ничего не видел и не знаю, но даже не сумел себя толком воспитать и приготовить к жизни. Ни одна струна в моём организме не была настроена так, чтобы я мог на неё положиться. При всяком сердечном ударе я плакал и терялся, словно ребёнок. Хоть брат и научил меня верховой езде, всё же тело моё было слабо, не закалено гимнастикой, и чрезмерное напряжение доводило меня до изнеможения и обмороков. Что же касается силы самообладания и выдержки, точности и чёткости в мыслях и во внимании, — то тут дисциплины во мне было ещё меньше.

Я смотрел в окно, за которым уже сгушались сумерки. Природа находилась в полном расцвете своих сил. Мелькали зелёные луга, колосающиеся поля, живописные деревушки. Всё говорило о яркой жизни! Кому-то были близки и дороги все эти поля, сады и огороды. Целыми семьями работали на них люди, находя кроме любви к своей семье и общую любовь к этой земле, к её красотам, к её творчеству. А я один, один — всюду и везде один! И во всём мире нет ни угла, ни сердца, про которое я знал бы — вот «моё» пристанище.

Погружённый в свои горькие мысли, я забыл об Иллофиллионе; забыл, где я, унёсся в сказочный мир мечтаний, стал думать, как буду стремиться стать достойным другом Флорентийца, таким же сильным, добрым и всегда владеющим собой. Невольно мысль моя перебралась на его друзей — Иллофиллиона и Ананду. Их поступки, полные самоотречения — ведь они бросили всё по первому зову Флорентийца и едут помогать Николаю и мне, людям им совершенно чужим, — очаровывали меня высотой благородства.

Внезапно в коридоре послышался сильный шум и женский крик: «Доктора, доктора!» Оторванный от своих грёз, я резко вскочил, чтобы броситься на помощь, зацепился ногой за чемодан, который стоял у столика, и упал бы со всего размаха прямо на пол, лицом вниз, если бы меня не схватили сзади за плечи сильные руки Иллофиллиона.

— Нос разобьёшь, Лёвушка, — уморительно копируя старушечье шамканье, сказал он. Это было так смешно и неожиданно, так не подходило к серьёзной фигуре Иллофиллиона, что я расхохотался, забыв, куда и зачем бежал.

— Подожди здесь, друг, — проговорил он уже своим обычным голосом. — Я пойду с моими каплями. Узнаю истеричный голос нашей старшей соседки по столу. Быть может, я там задержусь, но ты всё же не выходи из купе, если я не приду за тобой. Всё время помни о нашей главной цели. Флорентиец уже уехал в Париж, поезд должен был отойти минут десять назад, судя по времени, — сказал он, посмотрев на часы. — Ведь Флорентиец отправился в путь ради тебя и твоего брата. Я еду ради тебя и для него. Ананда живёт в Москве тоже ради вас обоих. Как же ты можешь считать себя одиноким и бездомным?

В эту минуту кто-то постучал в наше купе. Иллофиллион ласково поцеловал меня в лоб и открыл дверь.

У порога стоял давешний генерал, с которым флиртвала тётка, и ещё какой-то молодой человек. Генерал извинялся за беспокойство и просил доктора — принимая Иллофиллиона за такового, — помочь молодой девушке, упавшей в обморок в соседнем купе; никто не может привести её в чувство, хотя её тётка уже более часа употребляет к этому все обычные средства. Иллофиллион только спросил, почему же раньше к нему не обратились, — захватил походную аптечку из того саквояжа, который вручил мне Флорентиец, и ушёл вместе с двумя постучавшимися к нам пассажирами.

Я выглянул в коридор, куда высыпали мужчины и дамы из всех купе. Они представляли довольно-таки смешную картину. У каждого было растерянно-вопросительное лицо и в руках какой-либо флакон. Очевидно, прежде чем вспомнить о докторе, все они помогали злосчастной даме привести в чувство её племянницу. Я закрыл дверь, убрал в сетку чемодан, о который

так неловко споткнулся, и стал думать о девушке, с которой случился такой глубокий обморок. Я вспомнил её худенькое личико и тоненькую, почти детскую фигурку. Казалось, что здоровьем она столь же некрепка, как и я; и так же невыдержанна и плохо воспитана, — в смысле самообладания.

«Вот, — думал я, — у неё есть и мать, и отец; есть дом, и даже два, потому что она едет на свою дачу к морю. А жизнь её вряд ли веселее моей, если приходится жить и ездить с тёткой, которую ненавидишь».

Я старался нарисовать себе картину дома, быта и всей внутренней жизни девушки. Мне хотелось понять, каким же образом ребёнок в родительском доме мог дойти до такой глубокой сердечной боли. Как, изо дня в день, её должна была угнетать атмосфера, в которой жили её родители, если Лиза могла обнажить душу перед чужими людьми, как это случилось с ней сегодня. Я сравнивал её с собой и всем сердцем искал оправдания её поступку, памятуя, что недавно сказал мне Иллофиллион. Мне припомнились мои слёзы за последние дни; как горько я плакал — и тоже перед чужими мне людьми, я — мужчина, старше её на добрые пять лет. И звучавший лейтмотивом этих дней вопрос «Кто тебе свой? Кто чужой?», назойливо возвращающийся ко мне, отвёл мои мысли от девушки...

Через некоторое время я снова вернулся мыслями к ней. Нравилась ли мне Лиза? За все мои двадцать лет я ещё ни разу не был влюблён. Я так был занят, у меня было такое множество уроков, сочинений, книг, которые я к ним должен был прочесть. Да и брат в своих письмах присылал мне целые программы; перечень музеев и галерей, которые я должен был посетить, — всё это заполняло мою голову, я всегда был занят. Знакомств же, кроме старой тётки, у меня не было никаких. А в её доме я встречал только старых важных дам, каждая из которых учила меня внешним манерам, давая целовать свои сморщенные и надушенные руки и совсем не интересуясь духовной жизнью замухрышки, которым я, несомненно, был в их представлениях. Все их разговоры были о высшем свете; на каком балу у графини С. они были и к каким князьям В. пойдут завтра.

Никогда мне не доводилось даже сидеть за одним столом с девушками, тем более танцевать с ними. Лиза была первой девушкой обычной, простой жизни, с которой я просидел около часа за одним столом. А Наль являла собой какую-то высшую красоту, принадлежа к высшей, необычной жизни. И с обеими я не просто общался как с добрыми знакомыми, а невольно подсмотрел у той и другой маленький уголок их духовной, скрытой от всех, жизни.

«Лиза упрекала тётку в том, что первому встречному она готова поведать о своих делах. А разве сама она не выдала гораздо больше того, что раскрыла тётка?» — вертелось в моей голове колесо мыслей.

Тёплое чувство к Лизе и острое желание помочь ей чем-нибудь, принять участие в её судьбе шевельнулись во мне.

Должно быть, прошло немало времени, пока я занимался этими психологическими наблюдениями. За окном была тёмная ночь, в коридоре горела зажжённая проводником свечка, но в купе было довольно темно. Я встал, намереваясь выглянуть, как в дверь внезапно постучали, и я увидел Иллофиллиона, вводившего в наше купе Лизу, которая, очевидно, не могла сама идти; за ними шла тётка с пледом в руках.

— Лёвушка, у Лизы был сильный сердечный приступ. Пока ей приготовят постель, ей надо полежать у нас, сидеть она не может, — сказал Иллофиллион, укладывая девушку на диван.

Я хотел выйти в коридор, но он дал мне хрустальный флакон и велел каждые пять минут подносить к носу Лизы. Я присел на чемодан у её изголовья и стал выполнять свою миссию лекарского подмастерья. Тётке Лизы Иллофиллион указал место у столика, взял у неё плед, накрыл им девушку и сел у её ног.

Несколько минут царило полное молчание. Тётку я не видел, ибо, занятый своей миссией, сидел к ней спиной. Пользуясь полуобморочным состоянием Лизы, я внимательно её разглядывал. Бесспорно, это была красивая девушка. Но меня крайне поразило, что одна щека её была восковой бледности, а другая не только пылала, но багровость её переходила в большой синяк, что отчётливо стало видно теперь, когда Иллофиллион достал складной подсвечник, зажгёт в нём свечу и поставил на столик.

— О чём теперь вы плачете? — услышал я вдруг голос Иллофиллиона.

Я оглянулся и увидел, что лицо тётки всё залито слезами; нос, губы, щеки — всё распухло, и вид её был до отвращения безобразен.

— Не о девчонке плачу, а о своей судьбе. Что теперь будет со мной? Она станет всех уверять, что это я её толкнула. А на самом деле сама ушиблась... — отвечала злым голосом тётка сквозь всхлипывания.

Я взглянул на Иллофиллиона и поразился грозному выражению его лица. Он так пристально смотрел на плачущую, что сразу напомнил мне Али. Никогда бы не поверил, что у неизменно ровного, большей частью светящегося доброжелательством Иллофиллиона может быть такое грозное лицо, такие суровые глаза.

— Вам лучше всего не лгать. Я так же хорошо знаю, как и вы, что это вы её ударили, не рассчитав своей силы; и я могу вам показать отпечаток вашей ладони на её щеке. Если бы вы ударили чуть выше, — вы бы убили её, — проговорил звенящим голосом Иллофиллион.

Всхлипывания прекратились, и в тишине раздался свистящий от бешенства голос тётки:

— Возможно, что вы и доктор. Но вряд ли вообще понимаете, что сейчас говорите. Я, слабая женщина, могла так ударить девчонку, чтобы свалить её в обморок? Говорю вам, она сама свалилась, и у меня не было силы её поднять.

— И поэтому вы исципали ей всю грудь и руку, — сказал Иллофиллион. — Но поскольку вы отрицаете, что избили её, — мне придётся сделать фотографический снимок на чувствительной пластинке и передать его судебным властям, как только мы прибудем в Севастополь.

Воцарилось недолгое молчание, затем тётка прошипела:

— Сколько возьмёте за своё молчание?

Иллофиллион рассмеялся, я тоже не мог удержаться от смеха и закричал:

— Да это целый роман!

Вероятно, мой смех особенно разозлил выглядевшую сейчас такой старой и безобразной даму. Когда я на неё взглянул, — точно змея меня укусила, так злы были её глаза.

— Я совестью не торгую и взятки ни за какие услуги не беру. Девушке вы нанесли и моральный и физический вред. За моральный удар вы ответите самой жизни; он не останется безнаказанным и вернётся к вам с той стороны, откуда вы его никак не ожидаете. От вашего собственного ребёнка вы получите такую же пощёчину. А за удар физический вы ответите судебной власти и понесёте заслуженное наказание, — говорил Иллофиллион, доставая из саквояжа футляр с фотографическим аппаратом.

— Пожалейте меня. Не знаю, зачем эта злая девчонка рассказала вам о моём сыне. Это моё единственное сокровище. Умоляю вас, не губите меня. Я впервые в жизни ударила её за то, что она выдала меня перед вами. Пожалейте несчастную мать, — бормотала она прерывающимся голосом.

— Почему же вы не пожалели единственного ребёнка своей сестры — женщины, несчастье которой вы составляете до сих пор? — продолжал Иллофиллион, всё так же сурово глядя на неё.

— Вы ещё слишком молоды. Вы не знаете бедности. Вы не можете ни понять, ни судить меня, — жалобно говорила женщина. — Но если вы не выдадите меня родителям Лизы, клянусь жизнью своего сына, что пальцем не трону больше девчонку.

— И будете продолжать есть хлеб вашей сестры, жить в её доме, разыгрывать в нём хозяйку? О нет, вы слишком дорого цените благополучие вашего сына и слишком дёшево — три жизни ваших родных. Только тогда я вас не выдам, если вы уедете из дома вашей сестры.

— Куда же я денусь? Вы так говорите, потому что не знали нужды и не понимаете жизни. Чем я буду жить? — раздражённо спросила женщина.

Вторично по лицу Иллофиллиона скользнуло нечто вроде усмешки, едва уловимой, так что я подумал, что, пожалуй, и в первый раз на его лице, как и сейчас, просто играл колеблющийся свет горящей свечи.

— Вы должны работать, — тихо сказал он.

— Работать? Оно и видно, что сами-то вы и гроша не заработали, просидели на шее папеньки с маменькой, как и ваш братец, и не понимаете, о чём тут болтаете, — злясь и фыркая, говорила тётка Лизы.

— Я повторяю, — чрезвычайно спокойно, но с непоколебимой волей возразил Иллофиллион, — что единственное условие, при котором я согласен покрыть ваш грех и взять на себя таким образом часть вашего преступления, — это условие немедленного отъезда из дома вашей сестры и ваше устройство на работу. Вы должны сами зарабатывать себе на хлеб и научить тому же вашего сына.

— Я не кухарка и не гувернантка, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Я барыня, слышите вы, ба-ры-ня! Была, есть и буду!

— Достаточно сейчас взглянуть на себя в зеркало, чтобы убедиться, что вы не барыня в том смысле, в каком должно понимать привилегии этого понятия — высокую культуру, самодисциплину и самообладание, — ответил Иллофиллион.

— Вы очень дерзки и самонадеянны. Я никуда не уеду и ничуть вас не боюсь, — закричала тётка.

— Ах, если бы вы понимали, что вам следует бояться только себя, вы сумели бы защитить сына от всех бед и вывели бы его в люди. И не был бы он, вслед за вами, приживальщиком, обещая стать негодным человеком. Вы боитесь лишиться сестринского крова, отравленного для неё вами. Но поймите же, я не угрожаю, не запугиваю вас, а только разоблачу вас перед родными. И они не станут более терпеть вас у себя ни минуты, и вы останетесь на улице. Уйдёте добровольно, я обещаю найти вам работу. Вы должны понять, что трудиться обязаны все, а вы — в особенности.

— Да не могу я быть гувернанткой! — снова закричала она.

— Никому не может прийти в голову допустить вас к детям. Помимо дурного характера, помимо эгоизма и злобы, которыми вы дышите, как кипящий котёл, вы не имеете даже начального понятия о тактичности. А бестактный человек, даже добрый, так же вреден ребёнку, как плохой заражённый воздух. Говоря о вашем устройстве на работу, я имел в виду дать вам письмо к своему другу в Москве. Он ведёт большое литературное дело, и ему нужны переводчики. Платит он очень щедро. Кроме того, он, наверное, сможет выделить вам небольшую квартиру в своём доме. Пока вы не съели ни одного куска хлеба, заработанного своими руками и головой, — вы не можете понять счастья жить на земле. Его приносит только честный труд.

Женщина теперь молчала. Я несколько раз оглядывался на неё, и мне казалось, что слова Иллофиллиона действовали на неё успокаивающе. Глаза её перестали источать ненависть, расстроенное и безобразное от злобы лицо постепенно становилось спокойнее; и даже какое-то благородство мелькнуло на нём, как сквозь серую пелену дождя пробивается бледный луч солнца.

Лиза всё ещё не приходила в себя. Иллофиллион встал, наклонился к девушке и откинул прядь волос с её лица. Щека вздулась; видны были ссадины, огромный кровоподтёк становился почти чёрным. Иллофиллион взял фотографический аппарат. Но в ту минуту, как он хотел его открыть, рука тётки коснулась его, и она едва слышно сказала:

— Я согласна.

Я был поражён. Сколько раз за эти короткие дни я был свидетелем того, как страсти, пьянство, безделье, фанатизм и зависть уродовали людей, разъединяли их и делали врагами. Как люди теряли человеческий облик и становились игрушкой собственного раздражения и бешенства. С горечью думал я, как же мало во мне самом самообладания и самодисциплины; и как я успокаивался от одного только присутствия брата, Флорентийца и моего нового друга Иллофиллиона.

Ни одного слова, — как оно ни было горько, — не произнёс Иллофиллион повышенным тоном. Ни малейшего намёка на презрение не прозвучало в его словах, напротив, всё в нём являло самое глубокое доброжелательство. И злобные выкрики в его адрес, так оскорблявшие меня, что мне хотелось вмешаться в разговор и ответить ей тем же тоном, — не задевали спокойного благородства Иллофиллиона и его сострадания к этой женщине.

Иллофиллион посмотрел на неё. Должно быть, его взгляд затронул что-то лучшее в её существе; она закрыла лицо руками и прошептала:

— Простите меня. У меня такой бешеный характер; я сама не понимаю иногда, что говорю и делаю. Но если я даю слово, — я его держу честно. И это, может быть, единственное моё достоинство, — сквозь снова полившиеся слёзы проговорила она.

— Не плачьте. Отнеситесь в высшей степени серьёзно ко всему, что с вами сейчас произошло. Благословляйте судьбу за то, что Лиза не ушиблась об острый угол стола. Если бы ещё случилось и это, — вы были бы сейчас убийцей, — а что это значит, вы отлично понимаете, — ответил ей Иллофиллион.

Ужас изобразился на лице женщины, которая сейчас была так несчастна, что даже моё сердце смягчилось; и я старался подыскать ей оправдание, думая о том, как постепенно и незаметно для себя падает человек, если зависть и ревность сплетают сеть вокруг него изо дня в день.

— Не возвращайтесь мыслями к прошлому, — снова заговорил Иллофиллион. — Думайте о своём сыне, — нет ничего такого, чего бы не побе-

дила материнская любовь. Я залечу щёку Лизы, и через несколько часов от кровоподтёка не останется и следа. Но вам придётся просидеть возле неё до утра, меняя компрессы из той жидкости, что я вам дам. Примите эти подкрепляющие капли, — и бессонная ночь пройдёт легко. К утру я приготовлю письмо к моему другу и дам вам денег, чтобы вы с этой минуты могли начать новую, самостоятельную жизнь и уехать с сыном, не одолеваясь более у родных. Когда станете хорошо зарабатывать, возвратите эти деньги своему хозяину и он перешлёт их мне. Не впадайте в отчаяние, когда к вам будет возвращаться желание кричать: «Я барыня, барыня есть, была и буду», — а уединитесь и вспомните эту ночь. Вспомните, как я говорил вам, что за всё то зло, которое вы выливаете из себя, вы получите стократное воздаяние от собственного сына. Но зато каждое мгновение вашей доброты, выдержки и самообладания будет строить мост к его счастью.

Должно быть, сердце несчастной женщины разрывалось от самых разнообразных чувств и силы почти изменяли ей. Иллофиллион велел мне наполнить стакан водой, влил туда каплю, и я подал ей лекарство. Тем временем, опять-таки из саквояжа, что дал мне Флорентиец, Иллофиллион достал флакон, стакан и попросил меня принести тёплой воды. Когда я вернулся в купе, женщина уже пришла в себя и помогала Иллофиллиону поднять Лизу. Движения её были осторожны, даже ласковы; а лицо, осунувшееся и постаревшее, выражало огромное горе и твёрдую решимость. Но это была уже совсем не та женщина, которая предстала мне в вагоне-ресторане, и не та, которую я видел, выходя из купе. Правда, я не сразу разыскал проводника, который стелил постели; не сразу достал и воду, которую пришлось остудить, но всё же отсутствовал я всего минут двадцать, и за это короткое время человека было не узнать. Но уже столько всякого случилось за эти дни, и так я сам — всех больше — изменялся, что меня вовсе не поразила эта перемена, словно бы это было в порядке вещей.

Иллофиллион влил в рот Лизе снадобье, вдвоём они её снова уложили, и через несколько минут Лиза открыла глаза. Сначала взгляд её ничего не выражал. Потом, узнав Иллофиллиона, Лиза просияла радостью. Но увидев тётку, закричала, точно её обожгли.

— Успокойтесь, друг, — обратился к ней Иллофиллион. — Никто вам больше зла не причинит. Сейчас вот приложу примочку, и к утру на вашем лице не останется никаких следов. Не смотрите с таким ужасом на свою тётю. Не думайте, что высшее благородство заключается в том, чтобы отгораживаться от тех, кого мы считаем злыми или даже своими врагами. Врага надо победить; но побеждают не пассивным уходом в сторону, а активной борьбой, героическим напряжением чувств и мыслей. Нельзя прожить одарённому человеку — тому, кто предназначен внести каплю своего творче-

ского труда в труд всего человечества, — безмятежно, без бурь, страданий и борьбы с самим собою и окружающими. Вы входите теперь в жизнь. Если не сумеете сейчас найти в себе благородство и не выдать зло, причинённое вам тётей, — то не внесёте в жизнь собственную того огромного капитала чести и сострадания, которые помогут вам создать себе и близким радостную жизнь. Не судите свою тётю так, как это сделал бы судья. Подумайте о скрытых в вас самой страстях. Вспомните, как часто вы горели ненавистью к ней и её сынишке, хотя он-то уж никак не повинен ни в вашем горе, ни в ваших отношениях с тётушкой. Проверьте, сколько раз вы платили тёте ещё большей грубостью, как постоянно искали случая публично её осрамить, мысленно «посадить на место». Но ни разу не мелькнуло в вас к ней доброе чувство, хотя к прочим вы добры, и очень добры.

Молодость чутка. Представить себе весь сложный ход вещей, всю силу человеческих страстей, расставляющих на каждом шагу капканы, — вы ещё не в состоянии. Но понять, что сила человека не в злобе, а в доброте, в том благородстве, которое он с собой несёт, — вы способны, потому что сердце ваше чисто и широко. Вы играете на скрипке и понимаете, — ибо вы талантливы, — что звуки, как и доброта, очаровывают и объединяют людей в красоте. Играя людям, чтобы звать их к прекрасному, вы не ведаете страха. Так же точно возвращайтесь сейчас к себе без страха и сомнений. Когда сердце истинно открыто красоте, оно не знает страха и поёт дивную песнь — песнь торжествующей любви. Вы так юны и чисты, что никакой другой песни ваше сердце петь не может. Не думайте о прошлом; переживите это «сейчас» со всею полнотой ваших лучших чувств, — и вы построите вокруг себя прекрасную жизнь. Но ваше «завтра» будет засорено остатками желчи и горечи, которые вы вплетёте в него, если сегодня вы не найдёте сил раскрыть сердце в полной чистой любви, честно, без компромиссов. Ваша тётя покинет вас, как только доведёт до дома. Она нашла себе место и будет жить с сыном в Москве. А вы ведь собираетесь переехать в Петербург...

Вам уже стало лучше. Лёвушка доведёт вас до купе и даст вот эту микстуру, от которой вы отлично уснёте и завтра будете хороши, как роза, — прибавил он, улыбаясь.

Лиза была очень удивлена. В голове её — и это было ясно всем — происходила сумбурная работа; но слова Иллофиллиона не были брошены впустую.

— Я вас отлично понимаю. Как это ни странно, но мама часто говорит мне вещи, очень похожие на то, что говорите вы сейчас. Так что ваши слова поразили меня больше тем, что совпали с мыслями мамы, хотя и совсем иначе выраженными. Я не могу сказать, что я в восторге от этих идей. Ведь я действительно ненавижу свою тётку и не верю ни одному её слову. Вы и представить себе не можете, как она умеет лгать.

— А разве вы так безупречно правдивы? — тихо спросил Иллофиллион.

— Нет, — ответила Лиза, покраснев до корней волос. — Нет, я далеко не всегда правдива. Но... хотя, зачем вдаваться в далёкое прошлое? Если вы говорите, — она сделала сильное ударение на «вы», — что она уедет, я вам верю. Это всё, что нам нужно.

— Нет, — снова сказал Иллофиллион. — Это далеко не всё, что вам нужно, чтобы быть счастливой. Вы так привыкли иметь рядом с собой живой предлог, чтобы жаловаться на свои несчастья, что создали себе привычку, вместо того чтобы следить за собой, следить за тётей, выискивая в ней причины своих бед. И не замечали, что не только она, но и вы, Лиза, были мучительницей и матери, и отцу, и тёте... и самой себе.

При последних словах Иллофиллиона Лиза опустила голову.

— Это правда, — сказала она затем, подняв глаза на Иллофиллиона.

Иллофиллион помог ей встать, подал мне большой стакан с примочкой и маленький с каплями и предложил Лизе, опираясь на мою руку, идти спать, чтобы утро встретить здоровой и свежей.

Было уже за полночь. С помощью тётки я довёл Лизу до её купе, подал ей капли, которые она тут же выпила, а тётке — большой стакан с примочкой, пожелал им покойной ночи, раскланялся и вернулся к Иллофиллиону. Я застал его в коридоре, так как проводник стелил нам постели. Я подошёл к нему, и он сказал мне по-английски, чтобы я сейчас же ложился спать, поскольку завтра понадобятся силы, а вид у меня очень утомлённый. Ему же надо написать два письма, и он ляжет потом.

Уже по короткому опыту я знал, что говорить о последних событиях он не станет, а утомлён я был ужасно. Не возражая, я согласно кивнул головой, залез на верхний диван и едва успел раздеться, как заснул мёртвым сном.

Проснулся я от стука в дверь и голоса Иллофиллиона, отвечавшего проводнику, что мы уже проснулись, благодарим за то, что он нас разбудил, и тотчас встаём. Но когда я спустился вниз, то увидел, что постель Иллофиллиона была даже не примята и три письма лежали наготове, запечатанные в конверты, а сам он уже переоделся в лёгкий серый костюм. Иллофиллион попросил меня собрать все наши вещи, сказав, что пройдёт к Лизе, которую навещал уже два раза ночью. Он прибавил, что организм девушки крепок, но нервная система так слаба, что ей необходим бдительный и постоянный уход. И потому он написал матери Лизы, графине Р., письмо с подробными указаниями, как заняться лечением и воспитанием дочери.

С этими словами он вышел, я же так и остался посреди купе с открытым ртом. Много чудес перевидал я за эти дни, но чтобы Иллофиллион и в самом деле оказался доктором и решился писать письмо совершенно неизвестной ему графине Р. о её — тоже ему мало известной — дочери, — этого

уж я никак не мог взять в толк. «Где же тут такт?» — мысленно спрашивал я себя, припоминая, что говорил Флорентиец о такте и предельном внимании к людям. Долго ли, со свойственными мне рассеянностью и способностью мигом забывать всё окружающее, стоял я посреди вагона, — не знаю. Только внезапно дверь открылась, и я услышал весёлый голос Иллофиллиона:

— Да ты угробишь нас, Лёвушка. Надо скорее всё сложить, мы подъезжаем.

Я сконфузился, принялся быстро складывать вещи, но Иллофиллион делал всё лучше и быстрее, — мне оставалось только подавать вещи. Не успели мы уложить и закрыть чемоданы, как подъехали к перрону.

В коридоре я увидел Лизу и её тётку в нарядных белых платьях и элегантных шляпках. Лиза действительно была свежа, как роза, и в глазах её светилась радость. Тётка же её была бледна, на лице её выражалась скорбь, на лбу залегла поперечная морщина, тогда как вчера он был совершенно гладок; губы её были плотно сжаты; но, странно, — сейчас она нравилась мне гораздо больше; от её вчерашней плотоядности ничего не осталось. То было лицо стареющей женщины, преображённое душевным страданием. Я поздоровался с ними издали; у меня не было желания заглядывать ещё глубже в драму этих жизней. Севастополь сразу напомнил, что здесь мы сядем на пароход и снова отправимся на Восток; и я погрузился в мысли о брате и его судьбе в эту минуту.

Нарядная публика выходила из нашего вагона, и не менее нарядные люди встречали прибывших на перроне. Царили весёлые возгласы, смех, объятия. И снова резанула мысль, что меня встречать некому и некого мне прижать к груди во всём мире, хотя в нём миллионы людей. Иллофиллион взял меня под руку, взглянув, как мне показалось, не без укора. Через минуту мы вышли вслед за носильщиком на перрон, где ждала нас Лиза рядом со стариком высокого роста с небольшой седой эспаньолкой, очень красивым, гордым и элегантным. Лиза подвела его к Иллофиллиону и сказала, что в вагоне упала так неловко, что разбила всю левую щёку и висок. И вот доктор помог ей какой-то микстурой так хорошо, что и следа от ушиба почти не осталось. Старик, — дедушка Лизы, — встревоженный внезапной травмой внучки, высказал признательность. Он спросил, куда мы едем, сказав, что у него есть запасной экипаж и он может довезти нас до Гурзуфа. Иллофиллион поблагодарил, говоря, что мы останемся в Севастополе.

— В таком случае разрешите моему кучеру довезти вас до лучшей гостиницы, — сказал он, снимая шляпу.

Я видел, что Иллофиллиону очень этого не хотелось, но делать было нечего, — он тоже снял шляпу, поклонился и принял предложение.

ГЛАВА 10

В СЕВАСТОПОЛЕ

Все вместе мы вышли из здания вокзала. Старик велел нашему носильщику отыскать в целой веренице всевозможных собственных и наёмных экипажей кучера Ибрагима из Гурзуфа. Через несколько минут подкатила отличная коляска в английской упряжке, с белыми чехлами на сиденьях и кучером в белой же ливрее с синими шнурками, в высоком белом цилиндре с синей лентой. При широком татарском лице Ибрагима его английское одеяние выглядело довольно комично. Я подумал, что у того, кто подбирал кучера к английской упряжке, было не много такта. Вообще, это короткое словечко не покидало меня и при всяком подходящем или неподходящем случае вылетало из какого-то закоулка в моём мозгу, дверь в который я не умел, очевидно, запереть как следует.

Пока мы прощались с дамами и усаживались в коляску, старик давал кучеру указания, куда нас отвезти, какого управляющего вызвать, чтобы нас отлично устроили в номере с видом на море, и последнее, что я услышал, было приказание Ибрагиму оставаться весь день в нашем распоряжении, свозить нас в Балаклаву и только назавтра, выполнив ещё какие-то поручения, выехать в Гурзуф.

Я посмотрел на Лизу. Она не сводила глаз с Иллофиллиона. Она так смотрела на него, точно он был сказочный принц, а она — Золушка. Я перевёл глаза на Иллофиллиона и снова подумал, что он красив, как Бог, но Бог суровый.

Тётка всё это время стояла, опустив глаза, и казалась ещё бледнее в ярких лучах солнца. Мне было её сердечно жаль; мне казалось, что я, одинокий и бездомный, могу более других понять её скорбь и неуверенность в надвигающейся полосе её новой самостоятельной жизни. Прощаясь с нею, я креп-

ко пожал и нагнулся поцеловать её руку, не по велению хорошего тона, но в самом искреннем сердечном порыве. Она, казалось, почувствовала теплоту моего сердца, ответила на пожатие и взглянула на меня. Я даже похолодел на мгновение, такая бездна отчаяния была в её глазах.

«Боже мой, — думал я, усаживаясь рядом с Иллофиллионом, который говорил о чём-то с Лизой, — неужели в жизни так много страданий? И зачем так устроена жизнь? Зачем столько слёз, нищеты и горя? И как понять, что это человек сам множит свои скорби, как говорит Иллофиллион?»

Вокзал был довольно далеко от города. Я впервые видел Крым и этот исторический город. Всё в нём дышало для меня очарованием. Я мысленно расставлял редуты и башни, и пленительные образы Корнилова, Нахимова и Тотлебена вели воображение далее, к первому герою той страшной обороны — русскому солдату. Иллофиллион разговаривал с кучером, который оказался уроженцем Севастополя и не так давно похоронил деда, участвовавшего в тяжёлых боях, выпавших на долю четвертого бастиона.

Он вызвался отвести нас на верхний бульвар, чтобы мы увидели, где проходили бои, с обозначением блиндажей и бастионов, сказав, что в Балаклаве мы посмотрим гавань, где затонуло громадное судно, знаменитый «Чёрный принц» англичан. Мне больше всего хотелось видеть Нахимовский курган, но я не хотел вмешиваться в разговор. Сердце моё так было полно горечью жизни, что обычная моя смешливость и интерес к новым местам отошли на какой-то далёкий план. Страдания людей опаляли, как беспощадное солнце, поджаривавшее нас. А перед нами лежал этот город, спасённый такими неописуемыми страданиями и гибелью безвестных тысяч людей, имён которых никогда не сохраняет история, зная одно только имя народа — Иван Стотысячный¹! И где-то рядом высилась в моём представлении фигура венценосного императора Николая I, у которого не хватило ума прислать достаточно войска и провианта в это погибельное место, вместо того чтобы собирать войска на Кавказе, где он поджидал врага. И сколько же было их, грабителей, негодяев и знатных дураков, помогавших гибнуть этим безвестным героям — Иванам Стотысячным, — умиравшим просто и без проклятий.

Мысли мои прервал Иллофиллион, спросивший, не согласен ли я прежде всего узнать о билетах на пароход в Константинополь. Вмешавшийся Ибрагим уверил Иллофиллиона, что в гостинице, куда он нас привезёт, есть агент пароходной компании, что он доставляет и билеты, и заграничные

¹ Иван Стотысячный — собирательный образ лучшей части русского народа в учении Агни-Йоги. — Прим. ред.

паспорта, и что у нас никаких хлопот не будет, потому что пока путешественников мало, а вот через месяц будет «очень большая масса», как выразился Ибрагим.

Иллофиллион согласился ехать прямо в гостиницу, но я видел, что ему как-то не по себе. Несмотря на всё его самообладание, лицо его было сурово и нахмурено. Если бы я не знал другого его облика, как бы я был несчастлив, что связал судьбу с этим человеком! Точно прочитав мои мысли, Иллофиллион обернулся и ласково мне улыбнулся. Какой странный инструмент — сердце человека! Одной улыбки и лёгкого пожатия руки было довольно, чтобы мне стало легко, чтобы сердце открылось для тех радостных сил и чувств, которые я закупорил где-то в тени души.

Иллофиллион велел Ибрагиму заехать на главную почту, чтобы отправить письма. В эту минуту мы проезжали мимо собора, где стоял когда-то гроб убитого при обороне Севастополя Корнилова. Вскоре мы остановились у почты — маленького и грязного домишки. Иллофиллион отправил письма, получил телеграммы и, увидев расклеенные по стенам плакаты и объявления пароходных обществ, спросил, где можно купить билеты на пароход в Константинополь. Старый сторож, в не менее старом и засаленном солдатском мундире, должно быть, ещё времён обороны, ибо подобных мундиров нигде теперь не было и в помине, ответил, что агент имеется в приморской гостинице, поскольку там ещё есть надежда заполучить пассажиров, а здесь билеты пока никто не спрашивал.

Мы снова сели в коляску и двинулись к гостинице, которая оказалась неподалёку. Очевидно, хозяина Ибрагима хорошо знали, потому что был немедленно вызван управляющий и нас поселили в лучшем номере. Через несколько минут явился и пароходный агент. Он сказал, что превосходный новый английский пароход уходит впервые в Смирну и Константинополь завтра в 3 часа дня. А сегодня в ночь отправляется только грязная и старая итальянская скорлупа, которую новый пароход всё равно перегонит; он сказал также, что на нём есть совершенно новенькая свободная каюта люкс.

Иллофиллион согласился, отдал ему наши паспорта и деньги и условился, что вечером, когда мы будем обедать здесь же, в гостинице, нам принесут билеты. Заграничные паспорта нам должны были вручить в полном порядке завтра в час дня, так как это не так скоро здесь делалось. Иллофиллион распорядился, чтобы покормили Ибрагима, а сами мы, умывшись и переодевшись, спустились в тенистый и прохладный зал ресторана завтракать. Иллофиллион сказал, что есть телеграмма от Ананды, извещающего, что всё благополучно, что Флорентиец выехал в Париж, а он, Ананда, будет телеграфировать нам в С. и Константинополь на главную почту и чтобы мы написали о себе в Москву, в ту же гостиницу.

Позавтракав, мы сели в коляску Ибрагима и отправились осматривать город, доверившись во всём вкусу и знаниям нашего кучера. Должно быть, он не раз показывал достопримечательности города знакомым старика Р., потому что очень толково провёз нас по лучшим улицам, показав всё, что было построено за последние годы, и сообщив, что обратно повезёт другой дорогой и мы познакомимся со всем городом.

Огромное впечатление произвёл на меня верхний Севастопольский бульвар. Мы дважды обошли с Иллофиллионом места, ставшие бессмертной славой России, пусть многие и считали их бесславными страницами истории.

Никогда прежде не выдавший моря, я положительно растворился в восторге, увидев его бушующим с обрывистых берегов у Балаклавы. Я забыл обо всём, кроме природы, солнца и моря, и мне казалось, что уж лучше и быть ничего не может. Иллофиллион, посмеиваясь надо мной, говорил, что я вскоре увижу такие красоты, перед которыми Крым решительно покажется мне убогим. Шутил он и над моими восторгам, пообещав, что первая же морская буря, в которую я попаду, сменит, при моей экспансивности, восторг на проклятия.

Только вечером мы вернулись в гостиницу. Щедро расплатившись с Ибрагимом, получив билеты у агента, мы прошли в свой номер и оттуда в ресторан ужинать. Пока я был на воздухе, я не замечал ни усталости, ни голода, ни палящего солнца. Сейчас же лицо моё горело, я хотел есть, пить, спать — всё вместе. Взглянув на Иллофиллиона, я мысленно пожал плечами. Этот человек словно только что вышел из своего кабинета, где преспокойно читал газету. Правда, лицо и у него немного обветрилось и загорело, но не пылало, как моё, и на нём не было видно признаков утомления; он, очевидно, мог встать и ехать дальше, в то время как я прямо валился с ног от усталости.

Зал был почти пуст, но всё же несколько столиков было занято. Однако я так был занят собой и утолением своего голода, что даже не обратил внимания на тех, кто был в зале. К моему удивлению, Иллофиллион ел мало. На вопрос, неужели он не голоден, он ответил, что в пути есть надо мало; чем меньше ешь, тем легче путешествовать и тем лучше воспринимаешь всё окружающее. В его тоне отнюдь не было ни малейшего укора или осуждения. Но я как-то сразу почувствовал себя неловко. Я вообще отличался прекрасным аппетитом, чем удивлял своих товарищей по гимназии. Обжорой я всё же не был; но сейчас почувствовал себя так, как будто бы действительно был в этом грешен.

Я моментально потерял вкус к еде и отодвинул тарелку. Заметив это, Иллофиллион спросил, сыт ли я уже. Я просто и прямо сказал, что потерял вдруг аппетит, устыдившись своей прожорливости рядом с ним.

— Вот уж не следует, по-моему, сравнивать себя ни с кем ни в аппетите, ни как-то иначе. У каждого свои собственные обстоятельства, и чужой жизнью не проживёшь ни минуты, — сказал Иллофиллион. — Кушай, мой дорогой, на здоровье, сколько тебе хочется. Придёт время, доживёшь до моих лет, и еда станет для тебя просто необходимостью, а не удовольствием. Я очень виноват, что необдуманно лишил тебя аппетита, — ласково улыбнулся он.

— Странно, что вы считаете себя намного старше. Мне скоро 21, вам же никак не дашь больше 26—27 лет, а быть может, и меньше того. А вообще я благодарен вам за всё, что успел от вас услышать.

Тут я перешёл на английский и продолжал:

— Если бы вы не поехали со мной, что бы я делал? Как мог бы лететь на помощь брату, если бы вас не было рядом? Я уже говорил Флорентийцу, что не могу жить за чужой счёт, а ваши слова о том, что человек не может понять смысла жизни, пока не заработает свой кусок хлеба, только ещё глубже убедили меня, что так продолжаться не может. С той самой злосчастной ночи, когда я нарядился в маскарадный костюм для пира у Али, я не вылезая из духовного маскарада. То я слуга-переводчик, то я племянник, то двоюродный брат, то друг, — в то время как из всех этих ролей мне пристала только одна: роль слуги. Разрешите мне стать вашим слугою, так как ничего другого я делать для вас не могу. Может быть, и в этом я на первых порах не преуспею. Но я приложу все силы, всё усердие, чтобы стать вам хорошим слугой, — тихо, внешне спокойно, но с огромным волнением в сердце говорил я.

— Мой дорогой друг, мой бедный мальчик, — отвечал мне Иллофиллион, — отложим этот разговор до путешествия по морю. Быть может, там, оторванный от земли и всех её условностей, ты больше поймёшь свою огромную ответственность за жизнь брата, за его счастье и дальнейшую судьбу. Я нисколько не намерен отговаривать тебя от труда. Но тебе надо понять, в чём именно состоит твой труд. Быть может, жизнь, которая даёт тебе возможность близко увидеть и величие, и ужас путей человеческих, откроет тебе понимание и смысл твоей собственной жизни глубже и шире. И ты станешь служить не только своей родине, но и всей необъятной, звенящей вокруг жизни. Мы поговорим об этом на пароходе. А сейчас ешь мороженое, а то оно всё растает, — закончил он, опять улыбаясь.

В его тоне была такая глубокая сердечность, так нежно смотрели на меня — беспомощного и бездомного, одинокого и потерянного без него — его тёмные глаза, что я невольно вспомнил рассказ о том, как спас его, умирающего, Ананда. Должно быть, Ананда так же нежно смотрел на него в тот

миг. Я не лежал сейчас в агонии, но поистине могу сказать, что это были дни тяжёлой агонии моего духовного существа.

Мы кончили наш ужин, расплатились и поднялись к себе в номер. Здесь уже были готовы постели; мы потушили свет, открыли окна, полюбовались тёмным небом, огоньками на мачтах и лодках и легли спать.

Утром, проснувшись, я обнаружил, что Иллофилиона в комнате нет. Пока я совершал свой туалет, вошёл он, свежий, весёлый, в новом полотняном белом костюме и таких же туфлях, с пакетами в руках. Он рассказал мне, что проснулся очень рано, решил прогуляться по городу и набрёл на прекрасный магазин, где купил нам по белому костюму, не то на пароходе мы просто пропадём от жары. Он развернул пакеты и подал мне такой же белый костюм, в каком был сам. Я его примерил, показался себе очень смешным, но всё же в нём остался.

Далее Иллофилион рассказал, что повстречал вчерашнего агента, шедшего вместе с капитаном парохода, на котором мы должны были отправиться. Они познакомились, и капитан предложил перебраться на пароход раньше общей посадки, точно указав ему место стоянки. Иллофилион угостил капитана превосходным вином в ресторане нашей гостиницы и получил записку к дежурному помощнику, в которой говорилось, что мы имеем право занять свою каюту в любое время. Было как-то жаль расставаться с сушию хотя бы на один час раньше; но внутренний голос говорил мне, что Иллофилион даром спешить не станет, и я не возразил ни слова.

Когда я был совсем готов, он осмотрел меня, предложил выпить кофе и пойти в магазин, чтобы приобрести ещё по одному костюму — из тёмной чесучи, или альпага. Я был рад провести лишний час на суши и решил, что я из тех горе-любителей, которых пленяет море, пока они стоят на берегу. Какая-то тоска одолевала меня, когда я думал об этом первом морском путешествии, которое казалось мне бесконечным.

Вскоре мы управились со всеми делами, нашли такие костюмы, какие хотелось Иллофилиону, и мне мой тёмно-серый так понравился, что я в нём и остался. Вернувшись в гостиницу, мы расплатились и получили у агента паспорта, добытые им раньше обещанного срока. Сев в лодку тут же, у гостиницы, мы поплыли к пароходу. Довольно долго мы лавировали между массой самых разнообразных судов, пока наконец не оказались у машины-парохода, выкрашенного в белый и красный цвета; рядом с ним мы и наша лодка походили на букашек.

Взобравшись по трапу на палубу и предъявив записку капитана дежурному помощнику, мы добрались до своей каюты люкс. Она была расположена на верхней палубе, рядом с каютой капитана, и отделялась от неё

только деревянной переборкой, что делало нас обладателями многих необыкновенных преимуществ. В нашем распоряжении было небольшое пространство принадлежавшей только нам верхней палубы, куда никто другой из пассажиров не имел права заходить. Кроме того, в нашей каюте была прекрасная ванна, стены обиты серым шёлком. Были и два спальных дивана, подле каждого электрическая лампочка с колпачком, а в потолок был вделан матовый фонарь.

Все металлические детали были никелированные; на полу ковёр, в тон обивке стен и диванов, серый с розовыми цветами. Я ещё никогда не видел подобной роскоши и стоял, по обыкновению тараща глаза. Но Иллофиллион не дал мне впасть в мечтания и вывел на палубу. Вид на город был очень живописен. Но вокруг поднимались пустынные холмы; и жёлтая земля, иссохшая, потрескавшаяся от зноя, не являла собой заманчивого зрелища. Посмотрев на часы, я был поражён, как быстро промелькнуло время, — скоро нам предстояло двинуться в путь.

Наконец матрос доставил последние вещи в нашу каюту, закрепил их, к моему большому удовольствию, и мы расплатились с агентом, делавшим вид, что помогает, а на самом деле суетившимся возле матроса без смысла и толку. У меня мелькнула мысль, что жизнь моя в последние дни, пожалуй, чем-то напоминает суету этого агента. Когда другие действуют, я тоже всего лишь ассистирую, не видя в своём собственном поведении ни логики, ни смысла, ни толку.

Иллофиллион поблагодарил агента, дав ему добавочный куш; тот рассыпался в благодарностях и подал Иллофиллиону свою карточку с адресом, уверяя, что окажет нам любые услуги, стоит только ему написать или телеграфировать в Севастополь. Иллофиллион взял карточку, назвал мою фамилию и сказал, что, весьма возможно, мы ещё будем нуждаться в его услугах. Он также спросил агента, отправится ли следом за нами в Константинополь такой же быстроходный пароход. Агент рассмеялся и сказал, что такого чудо-парохода больше нет. К тому же наше судно не будет заходить в порты, только в Одессу.

Последним нас покинул матрос из штата судовой прислуги, приставленный к нашей каюте. Малый был весёлый и расторопный, он бегал по трапам, как сущий акробат. Хорошие чаевые сделали его ещё более любезным, и он объяснил нам, что пассажиры каюты люкс могут не спускаться к табльдоту, а требовать кушанья к себе наверх. Через несколько минут он появился по собственной инициативе с меню завтраков, обедов и ужинов. Иллофиллион просмотрел его и сказал, что мы вегетарианцы, поэтому он хотел бы, если это возможно, увидеть повара и договориться с ним об отдельном питании для нас.

Матрос слетал вниз и через некоторое время явился с двумя важными особами в безукоризненных белых костюмах. Один из них был метрдотель, другой — главный повар. Повар был толст и важен, метрдотель — высок и худ и держался с большим достоинством и любезностью. Дело быстро уладилось, главный кок заявил, что его помощник — специалист в вегетарианской кухне, что на пароходе есть большой выбор зелени, овощей и фруктов, а метрдотель предложил нам завтракать и обедать на полчаса раньше. Оба, получив по крупной бумажке, стали ещё любезнее, и повар сказал, что может через полчаса приказать сервировать для нас завтрак, когда публика ещё только начнёт съезжаться. Иллофиллион согласился, оба господина удалились, и мы остались наконец одни.

Шум, выкрики команд, скрип кранов, поднимающих грузы, ошеломляли меня. Я ещё ни разу не видел, как грузится большой пароход. Да и пароходы-то видел только издали. В раскрытый трюм, который казался бездонным, опускались огромные тюки. Грузчики друг за дружкой сновали с тяжестями на спинах по длиннейшим мосткам, достигавшим берега и уложенным поперёк на нескольких баржах.

Внезапно внимание моё было привлечено мелькнувшей в воздухе коровой. Испуганное животное громко мычало и рвалось из крепких ремней, которыми оно было привязано к подъёмному крану. Одна за другой коровы исчезали в люке бездонного трюма. Потом настала очередь ржущих лошадей, которые страдали ещё больше. Всё поражало меня. Казалось, я знал, что всё это существует, но когда увидел воочию, то показалось, что это необычайно сложно и что ум человеческий, придумавший всю эту технику, воистину творит чудеса.

Я поделился своими мыслями с Иллофиллионом; он улыбнулся и ответил, что нет чудес ни в чём. Всё, чего человек достигает, — лишь та или иная степень знания, к какой бы области ни принадлежали видимые или невидимые глазу, постигаемые только мыслью и интуицией «чудеса».

— Нам надо быстрее позавтракать, — сказал он. — Скоро появятся пассажиры. Я хотел бы вместе с тобой наблюдать за посадкой. Жаль только, что жара, пожалуй, будет тебе вредна.

На мой вопрос, почему это он, уклоняющийся от всякой суеты, хочет наблюдать толпу, Иллофиллион ответил, что надо удостовериться, удалось ли нам оторваться от преследователей, и тогда мы можем спокойно плыть до Константинополя, где нас встретят друзья Ананды.

В это время матрос принёс складной стол и два стула, следом за ним пришёл лакей со скатертью, посудой и салфетками. На вопрос, что мы будем пить, Иллофиллион заказал бутылку вина и какое-то мудрёное питьё со льдом, название которого я слышал впервые. Очень скоро мы уже сидели

за столом, и я с большим удовольствием потягивал через длинную соломенную трубочку холодный напиток розового цвета, необыкновенно вкусный и ароматный.

В разгар нашего завтрака на палубу вошёл капитан, приветствовавший Иллофиллиона как старого знакомого, он любезно поздоровался и со мной, напомнив мне Флорентийца элегантною своих манер. Капитан обращался с нами как с желанными гостями и любезно предложил пользоваться всей палубой, а не только той частью её, которая принадлежала нашей каюте.

— Скоро начнётся съезд пассажиров, — сказал капитан, выпивая стакан вина, любезно налитого ему Иллофиллионом. — Хотя настоящий сезон ещё не настал и другие пароходы пустуют, на мой запись шла уже месяц назад. За день до вашего приезда от своей каюты отказалась графиня Р. из Гурзуфа. Вот вам и посчастливилось.

Я постарался скрыть своё изумление, усердно подражая невозмутимости Иллофиллиона, чтобы быть «вполне воспитанным» человеком. Но я был глубоко поражён таким совпадением. Очевидно, это мать Лизы должна была ехать в нашей каюте, а может быть, даже несчастная её тётка думала совершить морское путешествие.

— Если у вас нет неотложных дел, — продолжал капитан, — я бы советовал вам вооружиться биноклями и понаблюдать за посадкой. Здесь так явно обнаруживается мера человеческого воспитания, характеры, манеры, что это не только интересное зрелище, но и поучительный урок. У меня перед каютой натянут тент. Вы сможете опустить занавески и будете сидеть в тени, незаметно наблюдая за прибывающими. Иногда бывают преуморительные картины. Вот, пожалуйста сюда, я покажу, как устроиться. До самого отплытия можете сидеть здесь. Потом, когда выйдем в открытое море, ко мне придут с докладами помощники, — как это всегда бывает при отправлении, — неизбежны случайности, которые требуют вмешательства капитана. Это вам будет неинтересно.

Говоря всё это, он усадил нас под тёмно-синим тентом, опустил такие же занавески и подал прекрасные бинокли.

— Итак, будьте как дома, — и до свиданья. Как только выйдем в море, вам придётся покинуть мои владения.

Он приложил руку к козырьку фуражки и сошёл вниз.

— Вот всё и устроилось, лучше чем вы хотели, — сказал я Иллофиллиону.

Он кивнул головой, взял свой бинокль и принялся рассматривать публику, которая стала собираться на берегу. Я видел, что ему не хочется разговаривать, и мне не оставалось ничего другого, как последовать его примеру.